

18+

ЕЛЕНА ЧЕТВЕРТУШКИНА

Нетленка

ЖИЛИ-БЫЛИ МЫ



Елена Четвертушкина

Нетленка. Жили-были мы

«Издательские решения»

Четвертушкина Е. Б.

Нетленка. Жили-были мы / Е. Б. Четвертушкина —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-747702-8

**НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ
ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН
И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.** Реальный мир или мир фантастический — проблемы
одни и те же: одиночество, сомнения, страхи... Близкие далеко, а чужаки
рядом... Но всё можно преодолеть, когда точно знаешь, что хороших людей
всё же больше, чем плохих, и сама земля, на которую забросило, помогает
тебе.

ISBN 978-5-44-747702-8

© Четвертушкина Е. Б.
© Издательские решения

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	14
Глава 3	23
Глава 4	33
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Нетленка Жили-были мы

Елена Борисовна Четвертушкина

© Елена Борисовна Четвертушкина, 2016

ISBN 978-5-4474-7702-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава 1

Всякого только что родившегося младенца следует старательно отмыть и, давши ему отдохнуть от первых впечатлений, сильно высечь со словами: «Не пиши! Не пиши! Не будь писателем!»

А. Чехов, «Правила для начинающих авторов».

Лист белой бумаги.

Или монитор компа.

Ты заносишь над белым безмолвием чистого листа (как пират кинжал, как Робин Гуд тисовый лук, как повар нож над жареным поросенком) лебединое перо, или гелиевую ручку, или неуверенно нашариваешь усталой ладонью компьютерную мышь... И замираешь, и хмуришься, и медлишь, всё медлишь в сомнении, гадая, с чего начать, – а главное, зачем. Кому, к репьям ушастым, сдались чужие недоперелеченные ссадины, или худо диагностированные старые болячки?..

И вот тут, уже почти совсем утонув в пучинах печальных мыслей, вдруг видишь: наплевав на зануду-рефлексию, из хлама неудач и разочарований проявляется зимнее, черным шелковым куполом натянутое небо в рассветном *марлезонском балете* звезд, и заснеженная, заметенная декабрем тайга с рыжими лисьими хвостами лиственниц в серебряной от инея чаще; черно-белая потекшая клавиатура горных отрогов, а потом – только вершины, вершины, вершины хребтов-бритв, хребтов-пил, хребтов-десантных ножей... Страна Суони, ради чьих историй уж точно стоит нарушить любое безмолвие, какого бы цвета оно ни было.

А в центре пейзажа, на склонах сопок – город Лоххид, про который Мотя так прямо и заявил, как только увидел:

– Это не город, не пудрите мне очки. Это заунывный деревенский романс об одинокой избушке, просто спетый хором.

Я тогда ответила, несколько задетая:

– Зато у нас есть море.

– Э-э, – отмахнулся Мотя, – ваше море – те ещё слезы...

М-да.

...Иногда я вскакиваю ночью, и бегу на крыльцо посмотреть, как падает на замерзающую голую землю снег. Мне не холодно, хоть и одета наспех – какое-то время тепло покинутого дома окутывает, как кокон. Редкие огни вдоль моста и подъездной дороги на Собачий хутор бледны, потому что именно на их фоне и виден снегопад, а контур леса размыт морозом, он почти исчез в средоточии темноты, сгустившейся на востоке. Кажется, что здесь, прямо за порогом, лежат самые сокровенные и неизведанные глубины мира, бездонные, бесконечные, но уже почти вписанные в быт, как очень дальние покои заброшенной дачи, тонущие в темноте и зябкости зимней ночи, и эти затоны и дали почему-то представляются надежнее, чем крепкие городские стены... Конечно, Лоххид – маленький город; здесь, как говорит Микада, «до всюду езды 5 минут на сусликах», и это святая правда. Но с другой стороны, у нас тут жить крайне интересно. Например, время с пространством состоит здесь в особых отношениях: чтобы вычислить ответ на одиозную задачу «...из пункта А в пункт В вышел пешеход...», в Суони и Лоххиде требуется счесть не столько скорость пешехода и заданное расстояние, сколько погоду и частное определение пешехода. Потому что странник ходит более-менее одинаково и в метель, и в вёдро; тарк – в вёдро, метель, туман и буран, и всё это не только по улицам, которые очень быстро заканчиваются, но ещё и по вертикальным сбросам скал; а *чечако*

вообще ходит с трудом в любую погоду, даже от гостиницы до трамвайной остановки. Так что любой житель Суони знает с детства: всё в мире, а особенно так называемые точные величины, есть штука относительная.

Кроме вечности. К ней относятся серьезно; это особая категория жизни, противопоставленная всему сиюминутному и суетному; вечность – одна из важных составляющих понятия Дороги. Самое страшное ругательство – «чтоб тебя время обидело»: местный аналог «чтоб тебе пусто было».

Вполне вероятно, я и попала-то сюда оттого только, что у меня с детства обнаружился редкий бзик: больше всего на свете я любила *лепить нетленку*. То есть, это потом мы с Джой вычитали в некоей книжке термин, и я сразу поняла: вот это оно самое и есть. Чужое остроумие сдуло, слава Богу, с проблемы подозрительный флер излишнего пафоса, и всё равно никак не подобрать иного названия для мало свойственного ребенку состояния, когда понимаешь (хоть и смутно, как не в свои очки): более половины всего, чем принято наполнять жизнь, легковесно, недолговечно, и, следовательно, скучно до смерти.

Куклы занимали лет до шести, а потом вдруг играм с ними стало не хватать глубины и основательности. Ну, раздела я куклу... ну, одела... ну, сделала вид, что покормила... И хоть бы что в мире изменилось!

Сладко мечталось о чем-то настоящем, взрослом, весомом. Какое-то время было интересно на кукол шить и вязать, но и это прискучило... В детстве, как правило, все дети грешат разносторонностью, нервирова родителей внезапными намеками на большие таланты, и вынуждая таскать отпрыска (высунув язык и никуда не поспевая) по кружкам и студиям. Меня никто никуда не таскал, слава Богу, так что я, в погоне за *нетленкой*, совершенно самостоятельно в какой-то момент взялась шить и вязать уже на себя. Потом рисовать; потом писала какие-то стишочки и рассказы, и всё примеряла к *нетленке*: к ней, по моим понятиям, относились картинки, которые можно повесить на стенку, стишки, которые не стыдно почитать папе, и собственные поделки, в которых можно выйти на улицу, не опасаясь прослыть городской сумасшедшей. Так что первое определение *нетленки* было вполне логичным: суть её в том, чтобы сделать что-то своими руками, ну, или головой, если имеется.

Предметы, изучаемые сначала в школе, а потом и в Университете, подвергались мною столь же строгому отбору; компромиссы не допускались. Как следствие, образование мое по сю пору грешит глубокой дискретностью, а точнее сказать, восторженным дилетантством.

Дальнейшее изучение этого феномена подтвердило: *нетленка* крайне подозрительно относится к сибаритству, и напрочь не приемлет потребительства. Она так напоминала упрямое детское «я сама!», что я потом долго удивлялась, отчего не родилась сразу в Суони. Суонийцы, в силу суровости существования, уже лет с 5-и занимались делами взрослыми и значительными: доили яков, ходили освобождать от добычи капканы и силки, кормили собак, собирали всякую таежную съедобность, короче, по мере сил обеспечивали бесперебойное существование семьи и общины. Но о Крыше Мира в большой домашней библиотеке не было ни слова, и наша встреча припозднилась на четверть века. Время шло; я повзрослела, по-прежнему жила в Акзаксе, уже работала в ЦКС; и все равно меня преследовало ощущение, что на самом деле я груши околачиваю.

С юности считая себя человеком ленивым, я не очень удивлялась поначалу, отчего мне вечно не хватает времени: лентяям его всегда не хватает, проверено. И только потом, уже в Суони, вспоминая те времена, начала удивляться – когда ж спала-то?! – ведь кроме работы и сына, не пренебрегала ни развеселой компанией друзей, ни долгими беседами с Джой, ни походами в кино и на концерты. Но с пугающей частотой меня сметали с места какие-то дремучие инстинкты, недоубитые городом: в палисаднике за домом я собирала шампиньоны, моталась на берега Драконьего озера за мятой и мелиссой, которыми потом, зимой, лечила

себя и сына от ангин и расстройства желудка; трудолюбиво собирала падалицу яблони-дичка в городском саду, и терн на пустырях за Зоопарком. Всё это шло на чай, варенья и цукаты на зиму. Джой нос воротила от подобных деликатесов, ну, а нас с Бобкой запасы частенько выручали в трудное время.

Джой говорит, что я всегда была слишком уж серьезной для своего возраста (а дружим мы практически всю жизнь), и это почти комплимент – теперь я понимаю, что была чудовищной занудой, с комплексом неполноценности в придачу. Конечно, в юности почти каждый, впервые узнав о существовании такой неотъемлемой составляющей жизни как смерть, пытается выстроить собственные отношения с вечностью – все с разной подачи и радужным калейдоскопом промахов, узнаваний, попаданий... И не-узнаваний, не-попаданий, на которые так охотно и стремительно слетаются разочарования, неуверенность и страхи. Рано или поздно, устав бояться, человек делает ручкой всей этой зауми, и переключается на обыденное: идет учиться, потом работать, заводит семью... Но в моем исполнении стройная *триптика* учебно-работы-семьи рассыпалась хлопьями на *ой, какие маленькие кусочки*, и так продолжалось, пока я не уехала в Суони. Следующая догадка о *нетленке* была такая: что ж ни одна собака не подсказала, что мне с самого начала необходимо было попасть именно сюда, и что нарожать кучу обожаемых детей – уж точно бесспорная, *не попираемая* никем и никогда *нетленка*!

Однако даже ей не по силам остановить время. Проживая жизнь худо ли, бедно ли, мы меньше всего держим в голове, что рано или поздно предстоит с этой жизнью распрощаться. Однако не зря говорят, что быстрее всего кончается соль, деньги, отпуск и молодость: в мою собственную жизнь как-то неожиданно набежали симптомы, в классической, хорошей и очень близкой мне литературе трактуемые – увь! – как старость. Не будучи готовой ни к чему подобному, я огляделась в лёгкой панике, и обнаружила кучу лет, внезапно оказавшихся антиквариатом. И пролетели они столь стремительно, что начнешь вспоминать, и только диву даешься, сколько *меня* — живой, молодой и уверенной в вечной молодости, – вместили они, канувшие безвозвратно; и куда подевалось всё то время, которое считала безраздельно своим по праву рождения, с его головокружительными взлетами и поражениями, своими и чужими детьми... Да нет, какими чужими – ни в одной суонийской семье нет такого понятия, как чужие дети; и работала я в Центре Кризисных Ситуаций в отделе кадров, так что уже очень давно имела дело именно с молодежью. Но вот беда: кровинушки и выкормыши, приемыши и воспитанники все как один норовят стремительно повзрослеть и разлететься, как охалка книг из разъявленных рук, – тут-то и понимаешь, что прочесть успела разве что половину, да и то по диагонали!

Когда размениваешь шестой десяток, время для тебя становится вещественным и материальным. Действуя в молодые лета подспудно и вкрадчиво, оно с годами то вмерзает в оледенения жизни, то вплавляется в пожарища, а вот теперь заявляет о себе открыто и жёстко, и берет под уздцы всех твоих резвых коней, принуждая *остановиться и оглянуться*. Ах, были, были времена, наполненные, так сказать, шорохом парусов и звоном шпаг; помнится, не забылось ещё небо, грохочущее ревом звена вражеских бомбардировщиков, и горячий ствол автомата, случайно ожегший запястье, и грозный силуэт чужой армады на траверсе... И предутренний оглушительный запах сирени, и оглушительная тишина одиночества вдвоем, и чьи-то оглушившие слова, навечно врезанные в память... И первый ослепительный луч солнца, ударивший в прорезь хребта и высветивший здесь, по эту сторону утра, клокастую траву на склоне, и лоскутные коврики разноцветных лишайников на каменных россыпях... И мощное дыхание собачьей упряжки, которой ты правишь, – летящей сквозь морозные дымы января столь стремительно, что визг снега под полозьями нарт не поспевает за нами, а вьется где-то сзади, в искристой снежной пыли.

А потом вдруг бабах, и всё в прошлом.

И здесь, в двух шагах от 60-и, полем битвы становится каждый календарный день, и пересекать его приходится как минное поле, ибо на закате жизни воюешь уже не с подлым врагом, а с собственным организмом. И не предостерегут опытные однопольчане, и не доложит разведка – когда именно накроет тебя кинжальный огонь ревматизма, или затяжной обстрел когда-то недооцененного бронхита, или точно выпущенный снаряд обширного инфаркта.

И нет оружия, чтобы достойно ответить на коварное нападение.

И нет подвала, где можно схорониться и отсидеться.

И ничего не поделает любимый человек, с ума сходящий от тревоги за тебя.

И не то чтобы стало страшно... Я уже достаточно долго хожу в церковь, чтобы не пугаться, как глупая гусыня, того порога, за которым вечность начинается для всех. Просто, остановившись и оглянувшись, задумалась и встревожилась: почему-то показалось, что прошелестела я сквозь жизнь как-то уж слишком... ну, *как-то быстро*. Вроде и ошибок совершила не меньше, чем все порядочные люди; как все, половину из них успела исправить, а вторую упустила в категорию фатальных; побывала и *сладкой идиоткой*, и *прелесть какой дурочкой*, долго училась быть кем-то другим, и вроде бы даже преуспела, и вот в этот самый момент – *полный конец обеда*, то есть старость, и какая тебе *нетленка*, если *уж сколько их упало в эту бездну, разверстную вдали!*

И нич-ч-чего не изменится, хоть тресни.

Жил кто-то, или проживал, или вид делал, что проживает – известно только, что *была там какая-то история*, и всё; в конце концов, кто нас считает... Всё так же будут спать тревожным сном в величественных гробницах из синего камня надменные цари пустынь Терагосы; им снятся прошлые жизни – проигранные битвы, прекрасные царицы в радужных татуировках змей и лотосов, нефритовые чаши с ядом, и омерзительные варвары, грабящие захоронения.

Древние мегалиты Мидо-Эйго, изъеденные временем и пристальными взглядами туристов, будут всё так же вздрагивать от автомобильных выхлопов и плакать каменными слезами от удушающего смога.

На островках, затерянных в просторах Кораллового и Финвалового морей, как тысячи лет назад, остатки древних племен будут добывать копру, ловить рыбку и опасаться соседних племен. Они никогда ничего не понимали, не поняли и не поймут в современном мире, приходящим к ним то служителями чужих культов, то чужими военными базами, но всегда – болезнями, обнищанием и потерей себя.

Как много веков назад, выйдут в ночные рейды куатракские ловцы белых осьминогов.

Аганские мальчишки станут прыгать с прибрежных скал в океан, кишащий акулами, за брошенной туристом монеткой.

Галлеста, замирая всеми своими карнавалами, базарами и ярмарками цветов, будет следить за петушиными боями.

Всё так же терпеливо будут карабкаться тихие полосатые ослики по желтым утёсам Соланы, неся в переметных суммах спирт, кокаин и оружие; всё так же привычно передернут затворы контрабандных автоматов боевики коламбийской наркомафии; продолжают гудеть тревожно, получая и усваивая информацию, компьютеры в Информационном отделе нашего Центра Кризисных Ситуаций...

Жизнь продолжится.

Она и сейчас продолжается, торопится, несется по лестнице дней, через марши месяцев и этажи лет. Ещё немного – она перешагнет и через меня. Заголосит в Лоххиде первый после преддизмья Печник-задушник – жестокая метель, забивающая снег во все щели, особенно в дымоходы и отдушины – без меня. Хлынут на Журавкины луга талые воды Листвянки и Сплетенки, сметая в заводи и низины вымытые половодьем кустарники, топляки и каменюки, – без меня. Оденется в серебристо-зеленое раkitник по берегам, зацветет и отцветет черемуха

и каприфоль, появятся птенцы у береговых ласточек, варакушек и каменок; перелиняют лиса, куница и заяц, процветет ломонос и древовидный пион, раскроются полуметровые листья белокопытника...

Без меня! – восстав против самой неотвратимости неминуемых и окончательных потерь, споря невесть с кем, я испугалась, запаниковала, и... и написала «Яйцо в вентиляторе».

Чего я добивалась этой книгой? Искала друга, чтобы поделиться всею обретенной за жизнь мудростью?.. Или, наоборот, врага, – которому, отвечая на оскорбление, можно бросить в лицо весь свой честно выстраданный горький и прекрасный опыт?!

Какую мудрость, жаль ты моя, какой опыт... *Не плачь, квакуха, с полочки купим новый тазик, и всё болото будет наше* – вот и вся мудрость, весь опыт! Нет, если уж на то пошло, та книга (да и любая, видимо) – просто щемящая, горькая, обреченная тоска по идеальному собеседнику, которого за всю жизнь почти никому так и не удаётся обрести. По собственной, конечно же, вине, но... Но разве от этого легче?

А иначе зачем бы гениальный поэт написал самую трагическую из всех земных эпитафий:

*Я к вам травкою прорасти,
Попробую к вам дотянуться,
Как почка тянется к листу,
Вся в ожидании проснуться...*

М-да.

Спасла меня от депрессухи, видимо, всё-таки Джой. Инстинкт самосохранения настойчиво потребовал по-быстрому завязывать с элегическими философскими печалью, встряхнуться и попытаться восстановить хоть минимальную боеспособность, потому что Джой, прочитав «Яйцо», произнесла ровно два слова:

– Ну, наворочала.

– Что опять не так? – спросила я, всё ещё томно.

«Идиотка!» – прошипел инстинкт самосохранения, и был, конечно, прав, потому что Джой отрубил:

– Всё было не так.

Я немного удивилась:

– Что не так «было»?! Эта книга о том времени, до которого нам с тобой, слава Богу, ещё два десятка лет с гаком! Если повезет, конечно...

– А Габи ты куда дела?

– Здравьете, приехали... Ты прекрасно знаешь – я поклялась, что не помру раньше него, потому что он сказал, что этого не переживет, так что мы договорились, что он помрет раньше. Ну, или бросит меня...

Джой тут же спросила с живым и, как мне показалось, вульгарным интересом:

– И что – бросил?

– Да типун тебе на язык! Откуда же я сейчас-то знаю...

– Не знаешь, так и нечего голову морочить. Собаки правда как живые, тут ты руку набила... А вот что за Берт такой, сроду у нас на лугах никаких геологов не было – почему я его никогда не видела?!

– Потому, что он картограф, и я его выдумала, – сказала я, начав потихонечку закипать.

– Молоде-ец! Лиса с амбара выселила, зоны какие-то наворотела... Козлотур ещё какой-то...

– Козлотура не трожь, он лицо реальное. Не веришь – Тревета спроси, или того же Лиса. Или Тойво...

– А вот, кстати, ты Тойво за что угробила?

– Успокойся, я у него спросила разрешения.

– Ну коне-ечно, тебе-то он что хочешь разрешит...

– Джой, да кончай придираяться, уши вянут!.. Тойво сказал – всё правильно, и что спасибо за столько лет, что я ему отпустила. И вообще тех, кого хоронят злые языки при жизни, живут до ста минимум.

– Вот. Вот про злые языки – это архиверно...

Я молча выпустила из себя всё, что хотелось проорать, кидаясь громоздкой мебелью (очень тяжело вздохнула), и сказала:

– Через тебя помру, верь слову.

Джой немножко подумала, и удивилась:

– С чего это, не понимаю.

– Не понимаешь, и не понимай себе. Я уже всё равно пишу новую книгу. Которая, собственно, и должна внести некоторую ясность...

Джой скривилась:

– Да вноси, что хочешь. Только, Бога ради, не надо уже больше экстраполировать, что сделается с нами после того возраста, про который в анекдотах справедливо говорят – *врешь, столько не живут*. Я человек лишенный воображения, ты знаешь. Берешься писать – пиши хронологически.

– Какого лешего – хронологически?! Это же творчество! Что вдохновило, о том и пишешь. Тут вдохновение, понимаешь, это – му-уза... С крылышками такая...

– У твоей музы маразм, плюнь на неё. Да и не помню я ничего ни о каких музах. Я помню лошадей...

Лошадей Джой обожала с детства. Она постоянно о них говорила, рисовала, искала тематические книжки, а в Суони вконец распоясалась и завела конюшни, – так что у меня тут же возникло зеркальное подозрение насчет маразма. Но оказалось, я клеветцу, потому что Джой призадумалась, почесала в затылке, и решительно заключила:

– Лопни мои глаза, была ведь лошадь, и вот у неё как раз крылья.

– Елки зеленые, так это ты Пегаса вспомнила?!

– Не знаю... В любом случае, заканчивай с крыльями, и пиши по порядку. С самого начала.

– Зачем?

– Мне так легче читать.

– Будешь много выступать – сделаю соавтором, – пригрозила я. – Тогда ни в чем себе не отказывай, поправляй хоть на каждом шагу...

– Да щас – разлетелась!

– А что такого, собственно?

– Я не нанялась отвечать за твою склеротичку-музу!..

Тут я собралась с силами, мысленно поблагодарив инстинкт самосохранения за своевременный сигнал тревоги, и напонила, что звать меня не *Нестор*, и пишу я не летопись, а художественное произведение, а если кого-то что-то не устраивает – пусть пишет сам. И Джой от меня на время отстала, так как писать сама никак не собиралась – по моей версии, из-за недостатка талантов, по её – потому что неохота, и смысла нет... И хорошо бы на ужин кабачка нажарить, да куда Габи опять попрятал все сковородки...

Безусловно, Джой не была единственным моим читателем. Мне неоднократно удавалось, так сказать, раскидать уши по облакам, вознестись поближе к эмпиреям и насладиться бла-

гожелательными отзывами профессионалов о моём творчестве. Однако, почти каждому человеку – неважно, тачает ли он сапоги, лежит *четвертым в луже* на съемках крутого боевика, или торгует баклушами вразнос, кроме чисто меркантильного интереса, для полного счастья необходимо ещё и признание некоей эфемерной референтной группы, которую каждый сам себе наживает. Родня, друзья, сослуживцы, любимый человек или заклятая подруга – почему-то судом именно этой группы и определяет сиюминутную, земную состоятельность собственной жизни сапожник, каскадер и щепетильник.

К сожалению, моей референтной – в один клюв – группой оказалась суровая Джой.

Она всегда была уверена, что переплюнуть меня в литературе, вязании и рисовании могла бы запросто, и не делает этого исключительно по причине загадочной болезни *щепоти правой руки*, поразившей её коварно и ниоткуда в самый расцвет творческой жизни. Таинственная хворь, имевшая по симптоматике некоторое сходство с ревматоидным артритом, сводила судорогой пальцы Джой при любом делании, процесс которого не представлялся ей захватывающим. Как бы ни была она заинтересована в результате, скукота процесса перевешивала, артрит взывал нечеловеческим голосом, и Джой бросала не законченное (или так и не начатое) дело решительно, и без сожалений.

Может, поэтому в оценке моих творческих успехов она всегда держалась линии критцизма *особо строгого режима*. Я же, как последняя дура, вечно ждала от неё если не похвалы, то хоть, на худой конец, справедливого и уважительного разбора полетов – но тщетно. Если мне удавалось связать сносный костюм в технике фриформ (это такой вязальный фристайл), она заявляла, что ничего хорошего сказать не может, но не из вредности, а потому что сроду такого фасона лично не носила, не носит, и носить не собирается. Если это была техника энтерлак, она сообщала, что питает непереносимое отвращение к «ромбикам».

– Ну, не люблю я ромбики, понимаешь? – говорила она, изнемогая от моей навязчивости, – ну, на дух не переносу...

Я терялась от такой неистовой страсти, но вовремя вспоминала, что другая моя приятельница точно так же ненавидит изнаночные петли, а ещё одна – пряжу меланж; каждой из них ненавидимое напоминало какую-то мрачную страницу биографии, а с фобиями не поспоришь. Как говорят суонийцы – *так есть*.

Если я показывала Джой первую главу повести, совершенно уморительной по моим меркам, она, читая, несколько раз подозрительно хмыкала, а потом мрачно роняла:

– Смешно... – и удалялась в себя, скучливо и неодобрительно.

Регулярно, с постоянством достойным лучшего применения, я, погибая от гордости за взятую вершину, зачитывала Джой только что написанное стихотворение (которое каждый раз обязательно считала лебединой песней своей персональной музыки), – надеясь пусть на скромную, но похвалу, пусть даже сквозь зубы.

Джой честно читала. Неважно – с компа, или написанное от руки; читала долго, натужно, с брезгливой тоской, а начитавшись, пожимала плечами. Она-де не разбирает моего почерка (при переходе на компьютер она с той же лёгкостью начала ссылаться на хроническую усталость световых диодов в голове, ураганную аллергию слезных каналов и сухость третьего глаза); стиль же представляется ей глубоко заумным, и вообще она стихов не любит, не чувствует, и понимать отказывается.

Что не мешало ей время от времени, блистая взором, зачитывать с придыханием гениальные строчки из малоизвестных поэтов.

...Темна и гибельна стихия,
Но знает кормчий ваш седой,
Что ходят по небу святые,

И носят звезды над водой...

Нет, лишнего на себя брать не стану, будем честны: где я, и где гениальные поэты.
Даже малоизвестные.

Когда мы завелись насчет хронологии, я всерьёз обиделась именно на непочтение к тяжкому труду. Какая разница – писать книгу, идти в крутой бакштаг правого галса, лежать в засаде со снайперской винтовкой, запекать ветчину или сколачивать поднятую грядку – пёс с ним, с результатом, но труды-то! То мозоль сбита, то прицел; фольга комковата, фраза топорщится, и сколько соли не сыпь, все пресная буженина; и туман на траверсе сплошной и вязкий, доски сырые и перекошенные; обеда нету, комп глючит, а нормальный молоток кто-то упер к лешему... И Джой говорит капризно:

– Не понимаю, как ты пишешь? Сначала у тебя про завтра, теперь про вчера... Хоть какой-то хронологии придерживайся!

– Придерживаться – чего?! – спросила я, совсем разозлившись, – что между пятью минутами и семью секундами западной долготы и сотней минут южной широты на Пожогe, у пятого фонарного столба, в три минуты шестнадцатого ровно ничего не произошло?!

– Ты не права, – заявила Джой упрямо, – и я тебе это заявляю со всею ответственностью. Не могу влет вот так объяснить, почему... – и добавила, по-доброму снисходя до моей тупости: – может, от голода – я есть хочу.

Нет, на шестом десятке лет практически совместно прожитой – окна в окна! – жизни мы до откровенных ссор уже редко доходили: бессмысленно, и времени жалко.

Стихия, безусловно, *темна и гибельна*, но так что ж, не жить теперь?..

А, ладно.

Ну, не прочтет Джой ещё одну мою книжку... ну, прочтет и пожмёт плечами равнодушно, – ну, разобижусь я... Мы вместе пережили столько, что эти сиюминутные дурные обиды были, как сентябрьский заморозок, который исчезает без следа, как только солнышко пригреет. В конце концов, может она меня критикует столь жестко просто потому, что у неё хороший вкус.

В отличие от меня.

Впрочем, писать всё-таки стану так, как Дорога положит, иначе не получится вообще ничего.

И вовсе не хронологию.

И совсем уж не летопись, а просто вычитала где-то, что...

Глава 2

Хозяин спрашивает гостя:

– Вам грибочков положить?

– Нет, спасибо. Я их только собирать люблю.

– Голубчик, как пожелаете – могу и по полу раскидать...

Анекдот.

Один уважаемый писатель-путешественник в какой-то из своих книжек отметил, что *по не совсем ясным причинам при прохождении зоны меняющихся ландшафтов резко возрастает вероятность конфликта между путешественниками*. Суонийцы много могли бы ему рассказать о странных константах и переменных из жизни ландшафтных границ; любые границы, будь они деревенской росстанью, городским перекрестком, лесной опушкой или каменистым сбросом горного водораздела, являются местом сакральным, почитаемым и требующим аккуратного обращения.

В правоте писателя мне пришлось убедиться на собственном опыте. Ни Джой, ни Габи под рукой не случилось, но они и не понадобились: ландшафты на Гадючьей сопке менялись с такой скоростью, что уже через час я расконфликтовалась сама с собою насмерть.

Темы долго искать не пришлось, она была проста до гениальности: почему я такая идиотка?!

Ну почему?..

Вот что за необходимость вдруг стряслась, переться за сморчками – подумаешь, какой деликатес, – когда в доме ещё с прошлого года грибов достаточно, и белых сушеных, и польских маринованных, и треть бочонка рыжиков соленых в хуторской копильне стоит, и ералаш грибной на леднике в погребе, и грузди ещё... Суббота, выходной; все дома, авралов никаких не намечается, Габи уток жарит, в холодильнике салат из креветок (я облизнулась) ... Джой с Микадой зайдут на ужин... Траут бутылочку моего любимого миртового ликера привез из Эолы (я опять облизнулась)...

А чего, спрашивается, облизываться? – как будто меня из дому гнали, скажите, Белоснежка какая... Ну, девочку, понятно, мачеха ела поедом, а меня разве что леший по грибы понес.

Зачем людям дома не сидится?! – всю неделю покою никому не давала, ни дома, ни на службе (кажется, даже собственные сыновья, работавшие со мной в одном учреждении, начали меня избегать); все пыталась Габи насчет погоды, а потом проверяла у Микады: на неделе мы с мужем общаемся эпизодически, так что он, соскучившись и воспользовавшись моей доверчивостью, вполне мог напроорочить снежных буранов с лесными пожарами, это в мае-то месяце... Однако погоды предстояли чудные, и несмотря на то, что никто со мной не пошел, я всё равно радовалась – всё же «тихая охота», чего там табуном делать? И чесанула на рассвете в лес.

Вот Джой умная, осталась дома, сказала – не люблю я сморчков, отстань. Хотя в прошлом году ела и облизывалась, когда мы с Тадеушем притащили и пожарили со сметаной... Ладно, шишига с ней. В конце концов, сморчки – явно неравноценная замена утке, Габи и Микаде.

Каждому свое.

Мне на сегодня – весна, и тут уж ничего не поделаешь.

Нет, я ужасно люблю лето, за его – здесь, в Суони, – щемящую скоротечность, яркую палитру альпийского разнотравья и песню варакушки. И за таинственно мерцающие в сумерках быстрого вечера коленчатые стволы и меховые зонтики медвежьей дудки; и за промельк-

нувшие в окне машины на расстоянии вытянутой руки щелястые и дуплистые скалы, увенчанные буйной кроной свалившейся за гребень скалы рощи.

И осень, конечно же – за терракотовые шляпки бархоток-моховиков, пламенеющих среди редкого сосняка на белых перинах ягеля; за вызолоченные палым листом каменные пороги нежно воркующего малого ручейка; за ледяные бирюльки, запутавшиеся поутру в густых и клокастых травах черных приморских дюн; за сказочные шорохи листопада и первые злые заморозки, когда, кажется, даже солнце теряется, проснувшись в прозрачных хрусталях хвойников и белых кораллах пожухлой травы.

И что уж говорить про зиму, когда в мороз ёлки, как белка или горностай, меняют окрас шубы на серо-белый с голубыми подпалинами! Зиму, со слоновыми ногами и ушами льда, намерзающего за ночь на прибрежные скалы; с завораживающей пляской обезумевшей метели и восьмиоктавным вокалом бурана в каминной трубе; с потемневшими горными реками, не замерзшими, но присмиревшими, с хрусткими от молодого ледка галечными берегами и седыми от дыхания воды буклями прибрежной травы.

Весна... Вот с ней сложнее. Голо, неприятно, опасно – в горах снежные обвалы и прорывы ледниковых потоков, в лесу болото, на лугах потоп... А у меня, как на грех, по весне шило прорастает в одном известном месте, и колосистое такое, что надо обязательно всё бросать и нестись в лес. Самое время, в *зеленую-то весну!* – когда всему лесу как раз абсолютно не до тебя, у природы тот же долгожданный и дорого оплаченный весенний дембель: обалдевшие от радости птицы кидаются чуть не в морду, зверье лезет под ноги, а подлец-ручей все ещё пенится бурными водами – как вышел в апреле из берегов, так по сю пору и не вернулся, тоже, вроде меня, дома не сидится... Гулять у нас, местных, не принято. Аборигены в лес ходят не от скуки, а за надобностью, поскольку даже в наши просвещенные времена от леса кормятся – не с нужды, а по традиции и нутряному принципу (что-то вроде моей *нетленки*). Охотиться весной практически нельзя, а вот собирать в здешней тайге всегда найдется что: лист майника и почерневшие лопухи бадана на тонизирующий чай; ростки папоротника на соленье, или топинамбура накопать... Хотя всё это, да ещё и в готовом виде, проще купить на городском рынке.

Собственно, сморчки тоже.

Но при чем тут вообще рынок! Причиной моего бродильного зуда было то простое обстоятельство, что вся Суони возвращается из зимы в весну, как солдат с победоносной войны, и немедля впадает в оглушительную весеннюю эйфорию: *весь мир на ладони, ты счастлив и нем...* Вернувшись вместе со всем миром из царства холода, буранов и снегов, ты ликуешь и празднуешь: вот опять промахнулась на Белой Охоте смертоносная лапа зимы, мы ускользнули, выжили, и теперь можем цвести и давать какой умеем плод. И неизбежно чувствуешь нежное родство со всем прочим выжившим и ожившим, от былочки малой до злющего медведя, очумело выползающего из голодной берлоги. И потом долго, так долго помнится с равным умилением и первый маленький до жалости клещ, сиротливо блуждающий по косынке, и ещё неокрепший комар, чей скулеж так мало похож на вампирский вой атакующего истребителя; первый соловей, неуверенно разбирающий *хорошо темперированный клавир* где-то в зарослях краснотала; первая пьяная от солнца бабочка-махаон, которая всё пикирует и пикирует на мягкий – «в мешочке»! – желток мать-и-мачехи; сонная ящерка на скальных выносах у Траутова дома, коврик тугого прострела на проплешине склона, робкая россыпь мускари... Господи, как я всех их люблю.

Сегодня мир был залит удивительно щедрым солнцем, в зарослях самозабвенно голосили птицы. Буйно и весело, себя не помня и не веря ни в какие новые опасности и напасти, громко возилось в кустах зверье. Из путаницы кленовых веток задорно дразнился щегол: «Сбились, сбились, сбились с пути! Увы, увy... Сбились с пути!», а с другой стороны гудела суонийская

пестрогрудка, очередями, как сотовый телефон, поставленный на режим вибрации. Ещё кто-то вопил издалека мерзким голосом: «Гяв-гяв-гяв-гяв! Уй-я-я! Уй-я-я-я, у-я-я... Гяв-гяв-гяв-гяв!!»

И бездонное небо аквамариново в прорезях хвойных крон, а под ногами вились повывлазившие из земли корни горной сосны; они напозлали друг на друга и пересекались под самыми дикими углами, напоминая то ли план какого-то изощренного лабиринта, то ли загадочные криптограммы. Я немножко их поразглядывала, а потом пристроилась на поваленный ствол и достала сотовый. И набрала номер мужа: он был не в восторге от моих весенних забегов, и, чувствуя некоторую вину, я решила, что мой долг – дать понять, что ни на минуту о нем не забываю.

– Гарбушечка, привет!

– Привет, – откликнулся тот несколько изумленно.

– Слу-ушай, ты же знаешь все эти письма, которыми пишут в Хебабе?

– Знаю, – не стал отпираться Габи, и осторожно поинтересовался: – а почему именно в Хебабе? Ты, собственно, сейчас где?

– Я на Гадючьей сопке, но это неважно. Нет, я знаю, что так же пишут и в Бусааде, и Саллахе, и Хамате. И я именно эти иероглифы имею в виду, потому что на суонийские совсем не похоже...

– Что не похоже?

– То, что я вижу.

– А что ты видишь?

– Вот я тебе за тем и звоню! Вылитые их буквы, а прочесть не могу. Поэтому давай я тебе сейчас их словами опишу, а ты мне скажи, что это такое, ладно?

– Давай попробуем, – вздохнул Габи.

– Так, смотри... Сначала вообрази себе такой снулый скрипичный ключ, стиснутый в трамвайной давке. Вообразил?..

– Ну, предположим, – хмыкнул Габи.

– Ага. И теперь сразу – диез, только с ножками... нет, не с ножками, с лапками... погоди, я сейчас поближе гляну... нет, это не лапки. Это жабры.

– Заяц, – сказал Габи терпеливым голосом, – ты сейчас сама поняла, чего сказала?

– Я – да, и ты тоже сейчас поймешь, погоди... – я наклонилась пониже, разглядывая корни, – это что-то вроде рогов, ну, как тебе объяснить... знаешь, такой знак на таркском языке жестов, не помню, что обозначает, так вот он, но перееханный пополам много раз.

– Рыба моя Заяц, – сказала Габи, – что ты имеешь в виду под «перееханным пополам много раз»?

– Ну, знак этот, он в лапшу нарубленный. И вниз головой...

– Любимая, а ты какое место у лапши считаешь головой?

– Нет, это я вниз головой, потому что тут иначе не рассмотреть... Подожди, я сейчас обратно сяду...

– Не стоит, – торопливо перебил Габи, – не напрягайся. Как это говорится... по фотографии не лечим. Вернешься – нарисуешь.

И положил трубку.

Ну, и пожалуйста.

Я полезла дальше. Сопка изобиловала распадками и возвышенностями, её пересекали каменистые всхолмления, бедовые овражки и жадно чавкающие под ногой неглубокие русла недавних весенних талинок. То вдруг возникло мерзлое болотце, где дреды мелированных утренним заморозком травянистых кочек теплыми скальпами торчали из воды, а чуть дальше лежала полоска крепкого берега с редкой сосной и купами ивняка, и почти сразу за ними – обрывы горных склонов. Справа на поляне валялся мертвый ствол, похожий на только что осве-

жеванное многоногое копытное... Землю устилал грачевник, кое-где его вспучивали кокоры – вывороченные с землей корни.

На сопках и за несколько метров порой не догадаешься, что откроется за ближним коленом тропинки – поросшая гусиным луком луговина в ореоле шершавого ильма, крупнофракционная разноцветная осыпь, или копнушки вечнозеленой тсуги по руслу безымянного ручья. Тропа, узкая, как щель под дверью, перетекала с одного его склона на другой тщедушным мостком, плетеным из лыка. Интересно... Тарки смастерили, или все-таки барсук?..

Зато с вершины Гадючей сопки открывалась величественная панорама.

...Миллион лет назад с конька Крыши Мира сошел мегаледник, выслав в разведку тысячу тысяч рек и речушек; он расщепил ими прибрежные хребты, и подмял под себя, а потом исчез, стремительно (лет за сто) растаяв в океане. Теперь ту давнюю историю напоминает лишь проломленный в побережье Сканийский залив, да вставшая на дыбы Суони.

Суони – или, как её ещё называют, Крыша Мира, самая высокая на Земле горная система, – совсем было собралась оторваться от материка, да на полдороге передумала; падая с поднебесных порогов, она тремя зазубренными горбами отделилась от болотистых пустошей Юны, на юге же, круто понижаясь и уходя к западу, мощная кордельера гор спускается в Файрлэнд и Мирно. Полуостров, ограниченный с трех сторон Сканийским заливом, океаном Бурь и морем Мрака, а с четвертой – Юной и Файрлэндом, и есть Суони: страна общей площадью 700 тыс. кв. км, состоящая сплошь из гор, долин, плато, ледников и ущелий.

В Золотом веке какие-то несытые на голову геродоты поминали то ли в диалогах, то ли в трагедиях о запредельной земле, с козырька немеряных круч взирающей на океан. Жили-де в тех краях люди – не люди, лешаки – не лешаки... Песьей головы, третьего глаза и трехпалости забавники-геродоты у них, правда, не заметили. А что, с них стало бы: капюшон шейпской парки в тумане здорово смахивает на волчью голову, точку между глаз охотники частенько натирают свежим медвежьим салом пополам с золой – от простуды из-за промокших ног; а уж варежки, выкроенные на три угла точно под удобство охоты... Но чужаки помянули только, что рядились местные в звериные шкуры, глядели дико исподлюбья, изящной словесности не разумели, и просвещенных гостей сторонились – то есть, ни золота, ни собственных жен дарить пришельцам не додумались.

Мелькала Суони и в висях викингов, и в Мидо-Эйгских хрониках зари времен, но всё как-то вскользь и рассеянно. Не приглянулась, видать, Крыша Мира просвещенным путешественникам, за что отдельное спасибо Дороге.

Общий облик страны, её природные особенности, а также национальные традиции, менталитет жителей и даже фольклор на 80% определяется тем, что лежит Страна среди высочайших горных хребтов, в межгорных замкнутых и полузамкнутых впадинах и речных долинах. Средняя высота территории около 3-х тысяч над уровнем моря, а многие вершины переваливают за 11-километровую отметку. Суони – высотный полюс нашей планеты. Кроме того, она относится к наиболее сейсмоактивным местам земного шара, где ежегодно регистрируется до 3 000 землетрясений.

Гребень Крыши – это вечные снега хребтов Высокой Суони, и среди них 11 из 14 высочайших вершин мира: от 9-и до почти 12 километров, они не имеют себе равных по сложности восхождения. Например, гора Вековуха – пятигранник с треугольными гранями, высота которого 11 711 м. Склоны Вековухи настолько круты, что снег и лед практически не задерживаются на гранях, и её силуэт цвета воронова крыла четко выделяется на фоне других вершин. Один из отрогов спускается к уединенному лесному урочищу огромной гладкой плоскостью, будто специально отполированной. В шейпских сказаниях она называется Таблицей Справедливости, и на ней, по сказам, записаны все страдания, которые потерпела эта земля от челове-

ков. Если Таблица в какой-то момент не сможет больше вместить записей, и они выйдут за её границы, – наступит конец света.

Из-за высоты и расчлененности рельефа, сложности геологического строения, пестроты гидрологических и климатических условий, горные территории являются местом опасным и непредсказуемым: ниша выживания тут сужена до предела, а жизнь предельно насыщена и крайне уязвима. Если строго по науке, то 90% территории Страны вообще для проживания непригодны. Именно поэтому в Стране так неравномерна плотность населения: в горной тайге, на расстоянии многих дней пути друг от друга, разбросаны охотничьи заимки и старательские хутора, а на подошвах горных склонов, суходолах, поймах и террасах рек, на пролювиальных конусах выноса, в Средней Суони, обретаются уже не только деревни, но и города.

Правда, у нас города большими не бывают. Потому что плотность населения резко повышает уязвимость перед стихийными бедствиями, которые, подлецы, тоже любят случаться именно в этих районах. У нас этих бедствий, как на собаке блох: землетрясения, сели, паводки, оползни, снежные и фирно-ледовые лавины, обвалы, шквальные разнонаправленные ветры, гололед, засухи и заморозки, наводнения, пульсации и подвижки ледников, каменных глетчеров и курумов, подъем грунтовых вод... Статистика говорит, что чрезвычайные ситуации происходят в Суони каждый второй день в году; именно поэтому даже ненадолго приезжающих иноземных туристов – фанатов нетронутой природы и живописнейших пейзажей, – сначала пересчитывают, потом ставят на строгий учет, а потом снабжают «Памяткой безопасности», то есть перечнем возможных неприятностей и настоятельными рекомендациями, как себя вести в экстремальных случаях.

Например, что каждые 100 метров подъема в горы температура падает на 1 градус.

...Что в холодную погоду, а особенно в пургу, надо ходить ровно, не ускоряясь и не замедляясь, дышать через нос, не глубоко, но часто, в размеренном темпе. Подбородок и нос прятать в шарф, но стараться выдыхать так, чтобы не увлажнять поверхность одежды.

...Что камнепады в горах могут возникать самопроизвольно на освещенных склонах через 1—2 часа после восхода солнца, то есть подтаивания льда в высокогорье. Опасность определяется по звуку: как только услышишь характерный раскатистый рокот, следует немедленно укрыться под каким-нибудь карнизом, и прикрыть голову рюкзаком.

...Что северо-восточные склоны самые лавиноопасные; южные более стабильны из-за постоянно прогревающего их солнца, а вот на северных склонах лежит разнородный снег, очень чреватый подвижками. Опасность схода лавины повышается с высотой; при ветре от 20 м/сек. опасность исключительная. Самый *кричащий* признак того, что находишься на лавинном склоне – фонтанчики снега из-под ног, и звуки: «барабанные» указывают на неустойчивость снежного пласта, «бухающие» – на разрушение слабого слоя внутри снежной толщи.

И что при попадании в лавину следует обязательно постараться кричать, чтобы члены вашей группы могли наблюдать, куда вас несет по склону, а потом рот закрыть, чтобы не захлебнуться снегом. Если возможно, надо попробовать освободиться от тяжелого снаряжения – лыж и рюкзака. Необходимо предпринять всё возможное, чтобы остаться на поверхности: делать плавательные движения, пытаться пробиться к краю. Попад всё же в глубину, определить «верх-низ» по поведению слюны во рту, и стараться выбраться к поверхности.

...Что туман может держаться в горах по нескольку дней, и тогда продолжать движение следует только при крайней необходимости. Заподозрив, что потерял ориентацию, немедленно строить убежище и переждать непогоду.

Что дождь – злейший враг путника в горах. В сильные дожди в горах обычно поднимается резкий порывистый ветер, делающий продвижение по кручам смертельно опасным: промокшая одежда может заледенеть. Дождь следует переждать в укрытии, при возможности просушить одежду у костра. Из-за изменений сосудистых реакций организма на высоте в условиях

гипоксии легко отморозить пальцы рук и ног, поэтому – повышенное внимание к просушиванию стелек и носок на биваке! В отсутствие костра просушивать одежду на ветру, или на теле.

Что в горных реках, к которым относятся и городские, колебания уровня воды достигают максимума к 13—15 часам, и минимума – к 7—8 утра.

Что Чертова Метла (свальный ураган с ледников) сковывает реки так, что к 11 часам дня русла пересыхают – мелеют и подергиваются сахаристой наледью; но уже к полудню зеркала ледников на юго-восточных склонах, отражая солнечные лучи, фокусируют их и посылают в долины, и тогда отдельные потоки стремительно оттаивают, и вниз по руслам катится ревущий вал обезумевшей воды...

И – увы! – ещё многое, многое другое.

...А вот коренные суонийцы разделяют бедствия по стихиям. Земля отвечает за лавины, оползни, обвалы и землетрясения, вода – за сели, наводнения и цунами, воздух – за шквальные ветры, метели и снегопады, а огонь – за лесные пожары и засухи...

Побережья – Малая Суони, – опускается к океану чередой сопок, сальз и пляжей с черным и белым песком. Там, где горы подступают вплотную к воде, нередко горячие пляжи.

Береговая линия изрезана фьордами, чьи клифы и бенчи делают судоходство практически самоубийственным. В двух местах на побережье – у малого архипелага Туманного хребта, и в одном из заливов Иичукая, – лежат зыбучие пески, крайне опасные во время туманов. Да они и в ясную погоду коварны, так как имеют свойство, как хамелеоны, принимать окраску морских волн.

Климатические пояса здесь тоже располагаются по вертикалям; к океаническому южному побережью подходит теплое Зеленое течение, так что Малая Суони оказывается в зоне действия муссонов. Редкое сочетание ветров, течений, рельефа создало на полуострове климатическую аномалию, позволившую не просто ужиться, но и перемешаться друг с другом северной и южной природе. Лиственница, пылающая по осени огненной кроной, соседствует с серовато-зеленой хвоей кедра Соланж, метровые вайи думбейского ореха – с ломаными стволами каменной березы; заросли их частенько переплетены лианами – лимонника, хмеля и актинидии, с её похожими на киви миниатюрными плодами, ярко-розовыми кончиками сердцевидного листа и стволом в руку толщиной. На горных плато растёт бамбук, вечнозеленый рододендрон – *кашкара*, и пробковое дерево с пепельной корой, отливающей серебром.

Впрочем, в Малой Суони климат почти умеренный. Летом прибрежные земли прогреваются до +25, реже до +30°; зимой, когда линия горных снегов спускается до самого океана, бывают морозы ниже -35°, с обильными снегопадами, выюгами и снежными буранами. Хотя и зимой в некоторых долинах гор и предгорий царит лето – там, где истекают дымами и горячими термальными источниками.

До 12 века на Крыше Мира проживали только шейпы, её коренное население. Потом туда пришли остатки изгнанных с собственной земли сканийцев; познакомившись, но не смешавшись с шейпами, они начали новую жизнь, стараясь вписаться в местные реалии.

До поры до времени, а именно – до последней четверти прошлого века, материальной базой существования местного люда являлась охота на зверя (мясного и пушного), собирательство диких съедобных растений (стеблей, корней, клубней, луковиц, орехов), и заготовка их впрок на зимнее время. Кое-где эта бродяжья работа разбавлялась мелким мотыжным земледелием – крохотными посевами ячменя, и разведением яков, в качестве транспортного средства, источника молока, мяса, кож.

Зимой охотились на лыжах. В осенне-зимний период брали белку, куницу, соболя, волка, марала, лося, зайца, лису, а также глухаря; летом занимались пастьбой и отслеживанием

богатых дичью мест. Пользовались ловушками-капканами, опускаемыми устройствами – *поддергушами*, копали *хляби* – ловчие ямы. Охотничьи угодья были родовые, упор на охоту как основного источника существования отразился и в законах: охотничье хозяйство – угодье и инвентарь, – нельзя было взять с ответчика за долги или за штраф. За убийство же охотничьей собаки, даже непреднамеренное, отдавали яка. Одежду шили из шкур косули, выделанной в виде грубой замши, или ткали из *кендыря* (дикой конопли).

Однако пища была достаточно разнообразной. Питались мясом, и ещё – мукой из поджаренных зёрен ячменя, с кедровым и ячьим маслом; запекали луковицы сараны (*кендыка*), сдабривали пищу диким луком, можжевельновыми почками, черемшой; мочили и сушили ягоду черемухи, калины, земляники, голубики, клюквы, жимолости. Клубни топинамбура варили, как картошку, добавляли птичьи яйца, толкли и делали подобие вареников с мясом, рыбой, ягодами. Рубленое мясо заворачивали в листья крапивы и хмеля, и замораживали на ледниках.

Ну и, кроме того, брали орехи (чуть не 10-и видов), и мед у диких пчел. Из рыбы добывали хариуса, окуня, тайменя, шуку, лосося, форель, осетра; кроме удилиц использовали ловушки – *морды* и *запоры*.

Из живности в хозяйствах, кроме собак, долгое время имелись только яки, стада которых и сейчас пасутся на альпийских лугах Средней Суони. Якам не страшны ни морозы, ни жара – защищает густая шерсть. Она настолько длинна и густа, что позволяет спокойно проводить ночи на снегу. С грузом в полтора-два с половиной кг як ходит по горным тропам с ловкостью канатоходца. Кроме мяса и шерсти он даёт ещё молоко, про которое говорят, что *на нем заяц пляшет и не тонет*, и оно розового цвета. И пасти яков несложно: они продвигаются по пастбищу неспешно, так как не боятся хищников, грамотно от них обороняясь. При серьезной угрозе старые быки встают в кольцо, выставив рога наружу, укрыв за спинами коров с телятами (иногда там же укрывается и пастух); так они могут простоять и день, и два, и три, пока хищникам не надоест бессмысленная осада.

Знали толк местные насельники и в лекарственных свойствах трав, и успешно лечили грыжу – девясилом, фурункулы – рогозом, мозоли парили листьями ириса и мазали сосновой живицей, останавливали кровь кипяченой крапивой, а синяки сводили хвощем-плауном. По сравнению со своими аналогами в других местах, лекарственные растения суонийских горных лесов обладают такими концентрированными свойствами, что для них даже определена отличная от общепринятых мера веса – *суонийский золотник*, приблизительно одна десятая часть грамма. Шейпы, странники и тарки легко могли носить в поясных мешочках лекарственный запас на год, до следующего урожая.

Ну и, конечно, тут живет масса удивительных растений, не встречающихся более нигде в мире.

Например, редчайшая королевская примула, растущая исключительно на склонах действующих вулканов. В суонийском буйстве форм и красок на этот бело-зеленый цветочек второй раз и не взглянешь, а вот, поди ж ты: расцветает она исключительно накануне извержений, и чем обильнее цветет, тем страшнее будет извержение. Шейпы называют её *око гнева*, и никогда, ни разу за всю обозримую историю, горная примула не поднимала ложной тревоги.

А ещё плоды одного корявого и неряшливого мелколистного кустарника, растущего в районах гейзерной активности, настолько душисты, что даже пот человека, съевшего их, начинает благоухать, после чего его несколько часов не чувствуют не только четвероногие хищники, но и комары. Не знаю официального названия; шейпы называют его *комариными слезами*, а странники – *избавихой*.

...В день великого Похода По Сморгчи гулёна-ручей подложил мне основательную свинью: в сапогах хлюпало, и хоть погоды стояли тёплые, это было неприятно. Складывалось впечатление, что моим сапогам не даёт покоя птичий гомон окрест: воду я из них вылила, носки

выжала, но голенища с подметками при каждом шаге издавали удивительные звуки – поскрипывали коростелем («кри-кри, кри-кри...»), покрикивали перепелом («пить-полоть, пить-полоть!»), причем правый, кажется, всё эстетствовал и норовил взять в терцию к левому... То, что сапоги плевали на мои чувства, было терпимо, но здорово отвлекало от маршрута. Может, потому ветви черной сосны сегодня как-то особенно низко и густо висели над тропкой, да и сама тропка постоянно терялась в размывах и оползушках склона, то в непросохшее болотце её заносило, то в бурелом. И поросль шипастой аралии всё норовила ободрать меня, как липку.

И салата из креветок, как пить дать, не достанется...

Габи, конечно, мне отложит. Но, как водится, набежит кто-то непредвиденный и голодный, и Джой обязательно вспомнит про остатки в холодильнике. Когда не надо, у неё память ого-го.

...Зачем я на лугах очки не посеяла, пока сквозь прошлогоднюю траву проридралась? – сейчас уже вернулась бы домой (куда я без очков!); сидела бы за столом как белый человек, лопала салат, ликером запивала...

Нет, стоп. Какой белый человек ест креветки под ликер?! Это срам, Габи меня немедленно из-за стола выгонит. *На десять лет без права переписки...* Вот ведь засада, калина каленая, об пенек битая!

...Тут что-то дрогнуло внутри – в голове?.. в лёгких?.. Какие-то вибрации внезапно пронзили лес, как озноб; я замерла на всякий случай, и услышала неподалеку скрип – натужный, больной, переходящий в канонадный оглушительный треск. Подламывая под себя всё, имевшее несчастье оказаться рядом, грянулось неподалеку мёртвое дерево. Подождав, пока стихнет гул от удара ствола о землю и убедившись, что всё остальное стоит покамест прочно, я ускорила шаг.

И это тоже была ошибка, потому что по тайге не бегают, как за трамваем. По тайге ходят с уважением, тем более что понятие «тропинка» тут весьма условное. Суетная торопливость всегда вылезает боком, как вот сейчас: заспешив, я немедленно *потеряла картинку* и оказалась в гуще тиса.

Тис – потрясающее дерево. Потолки моего дома сделаны из тиса: его древесина обладает такими мощными бактерицидными свойствами, что надежно защищает дом от любой инфекции. И в то же время в нем столько романтики – дерево Макбета, дерево Гамлета; дерево, выросшее на могилах Тристана и Изольды... У взрослого тиса нижние ветви опускаются и прирастают к земле, так что из одного маточного ствола возникает роща, прорастая сквозь которую, если уж как-то влез – занятие для Сизифа.

Ну, я как раз и влезла.

Выпуталась. Помянула недобрым словом свою беспечность и тисову родню, всю эту ершово-ежовую ерепенистую банду, – ради того только, чтобы тут же заплестись ногами в клубке ещё ни на чём не повисшего юного лимонника. Густой, как плетень, тис кокетливо потряхивал душистой хвоей справа, слева обнаружился раскидистый куст шиповника – дохлый, и оттого ещё более колючий, прямо-таки закостеневший от ненависти к любому проявлению кинетики. Из распадка у подошвы сопки индейским кличем наяривал козодой, ехидной фторой шелестел луговой сверчок – малюсенькая птичка, чьи почти механические рулады крутящегося вхолостую велосипеда по весне разносятся по-над сопками днем и ночью; где-то совсем рядом надоедливо, как метроном, отбивала склянки кукушка, а стоило только загадать про жизнь – сей секунд умолкала, енотина драная... Хотя нет, кукует как раз кукух. То есть, кукушкин мужик. А сама она только подвывает горестно: «ой-вой-вой-вой-вой!»...

А ведь если не добуду гриба – весь хутор станет оттачивать на мне остроумие до конца лета. Мне не жалко, пусть их, но ещё сто лет назад мы с Джой уговорились пустыми из лесу ни за что не приходить – пусть ерунду, но в дом. А, ладно, подумала я, не найду сморчков –

чуринг наберу. *Чурингами* мы с Джой называем ужасно декоративные лесные сучья, узорчато обглоданные жучком-древожором. Извивы и колена его ходов под корой складываются в сказочные руны и таинственные письма (покажу Габи – может, и впрямь можно что-то прочесть?). В общедоступной приключенческой литературе классические дикари называли такие рунические орясины магическими *чурингами*, при помощи которых племенной шаман наводил порчу, лечил недуги и общался с духами.

...То утопая во мху, то оступаясь на каменных выступах, цепляясь за лохматые колени березы шерстистой, я наконец выбралась на взлобье Гадючьей сопки; сбросила рюкзак, отдышалась и произвела рекогносцировку. Спины других сопки, видимых в открывшемся провале, мохнатились тайгой, и были похожи на небольшое стадо прикорнувших с устатку мамонтов.

Сзади лес сваливался вниз, и где-то за его вершинами, не видный мне, раскинулся на Журавкиных лугах наш Собачий хутор. К хутору – вернее, к болтунье-Сплетенке, за которой он лежит, – Гадючья скатывается весьма круто, так что строевая сосна удержаться на склоне никак не может. Зато прекрасно держится за неприятную землю и пальчатый клен, и аралия, и можжевельник, и извернувшаяся буквой «зю» рябина-пендула.

Справа внизу, опять же невидимо для меня, карабкался по склонам сопки и скал героический город Лоххид. Но мне и видеть его было незачем, чего я там не видела: дома по большей части малоэтажные, под прочными крышами с большим выносом, от снегов; первый этаж из дикого камня, второй и мансардный из неохватных бревен. Улицы, проложенные по склонам сопки, кое-где пасовали перед их крутизной, и тогда проходы и проезды терялись в складках рельефа, и казалось, что дома лепятся друг на друга ступенями; иногда лестницы заменяли переулки, и тогда дома нижнего уровня и вправду служили подпорной стенкой для проезжей части верхнего яруса.

Слева за громоздким каменистым наверх Гадючьей синезеленело море, и в нем трагическим изломом разлётся Жабий Камень – ещё одна городская сопка, мысом выкинувшаяся в залив.

Прямо передо мною рывками, но всё же не слишком обморочно ухая вниз, играла в шахматы с навалами валунов молодая сосновая рощица. Именно там, на старых горях, среди юной поросли жимолости, дудника и земляники, и находилось месторождение сморчков. В этот год весна угораздила ветреная: все ветра, какие только у нас водятся, свалились на Город. И Солёный Пес, липкий от подтаявшего снега; и упорный, как бобёр, Навальник; и Подрезуха, и даже Черная Вдова – кошмарная бора с гор, которая, слава Богу, всё-таки редкая гостя... Но вот уже с неделю сияло солнце и лили теплые дожди, и трава перла на Журавкиных лугах как бешеная, и комары толклись армадами, и клещей приходилось обирать с себя и собак по пять раз на день... Год обещал, по всем приметам, стать грибным. И грибу этому было самое время появиться.

Сморчок – он и на гриб-то не очень похож, а похож на нашу Суони – такой же изрытый хребтами и ущельями, мрачноватый и таинственный; в хитросплетениях его выпуклостей и впуклостей тоже чудятся линии суонийских горных систем. Помнится, Тойво говорил, у шейпов есть поверье, что наши хребты действительно складываются в иероглифы, которые описывают историю мира. Когда человек их прочтет, наступит – что?.. Правильно, конец света. Поэтому я перестала вглядываться в сморчок, перехватила поудобнее *хомяка* (маленький профессиональный походный ножик), и принялась за работу.

Глава 3

Когда я хотел подняться по лестнице, моя жена спускалась вниз; а когда моя жена хотела сойти вниз, я шел вверх. Вот какова супружеская жизнь, насколько я могу судить.

У. Коллинз, «Лунный камень».

Необычную хмурость жены Габи заметил влет, как только явился с работы; тихо вздохнул, подсел ко мне на подлокотник компьютерного кресла, и спросил так мягко, как только умел:

– Что-то опять случилось?

За 15 лет брака он, конечно, уже привык, что у нас всё время что-нибудь случается – Господь свидетель, монотонной нашу жизнь никак не назвать. То один из младшеньких, любознательный Гиз, увлекшись школьной химией, кинул дрожжи в уличный септик – *нет повести печальнее на свете, чем повесть о дрожжах и туалете...* То он же из жалости уперся поймать невесту откуда взявшуюся на Хуторе утку-подранка – первым, что случилось под рукой, то есть прихваченным через кухонное окно медным сотейником, который бликовал на летнем солнце не хуже лазера, и случайно пустил солнечного зайчика кое-кому прямо в глаз. На Хуторе традиционно живет головка суонийской администрации; наши президенты – народ демократичный, *вышли все из народа*, и шоферов не признают; короче, переезжая мостик на служебной машине, глава государства был неожиданно послан в глубокий офтальмологический нокаут. Со всеми вытекающими. То есть наоборот, утопающими.

Хороший был мостик, совсем ещё новенький... А машина какая была хорошая – до того, как её достали из речки вместе с Президентом. Последний оказался, конечно, жив и здоров, хоть и ругался отпетыми словами... но его-то как раз можно понять.

...То юная Катька, поссорившись с женихом, выбросила в Сплетенку с мостика его подарки, сообразив покидать их в наволочку от уникального батикового постельного гарнитура, свадебного (на нашу с Габи свадьбу!) подарка, расписанного от руки другом, художником с мировым именем.

И если бы только дети чудили, им положено – так нет. Однажды я, взявшись варить клюквенный кисель, перепутала крахмал с содой. Габи выхватил меня из-под пенного извержения – я, очумело хлопая глазами, бормотала «крахмал испортился...», а потом истерически хохотала и утверждала, что подмена банок – это диверсия Организации.

Даже Габи как-то отличился. В подвальном этаже дома находится погреб и маленький спортзал, где Габи ежедневно тренировал свои боевые навыки, параллельно натаскивая детей. В тот раз, показывая Персику и Стэфану какой-то хитрый удар ногой, он вбил в стену здоровенный костыль, торчавший в стене. Торчал он, конечно, не на месте, но в общем никому не мешал. Дети немели от восторга, ещё бы, – костыль вошел в стену, как в масло... Беда в том, что стенка в том месте была всё же не метровой толщины, и железяка проткнула навывлет не только её, но и бочонок с грушевым сидром в соседнем помещении винного погреба, о чем мы узнали гораздо позже. Со слезами горького сожаления.

...А близнецы, отправившиеся в 8 лет самостоятельно на трамвае мыть золото для покупки компьютерной приставки?

...А вытащенные перед самой пургой (кто ж её знал, что прилетит) чиститься ковры, которые начало заносить столь резво, что очень скоро весь хутор высыпал с лавинными зондами, помогать нам в поисках?..

...А странные привычки лайки Бегемота, а всё, что пережили с Марииным курятником, и крестины Рихардовой дочки – моей племянницы, и «уматерение» меня Гизом (поскольку я не сообразила насчет усыновления), и... Господи, сколько ж было всего!

– ...Да, – мрачно ответила я мужу, – к нам в форточку влетел больной *свинным гриппом* орел, склевал весь твой кус-кус, мышку от Гизова компа, и букет сухоцветов.

– Какой букет? – сделал большие глаза Габи.

– А! У тебя же память фотографическая – не смей делать вид, что не помнишь! Стоял на столике, с ширицей, камышом и конским щавелем... да холера бы с ним, но там созрел красный амарант, я хотела собрать семена.

– В чём проблема, не понимаю.

– В том, что это проблема! Вы с Гизом предпочитаете маринованные огурцы именно с амарантовым листом, в Суони эти семена не продаются, а я не потащусь за границу за паке-тиком ценой в три сканика! Опять ты всё повыбрасывал, что ж за наказание такое...

Габи стремительно соскользнул с кресла, чтобы не попасться под руку. Не то чтобы я его колотила... Где уж мне, но в минуты особой напряженности внутрисемейных отношений я по нему регулярно промахивалась всем, что под руку подвернется, и эти промахи зачастую выливались в легкий погром, болью отзывавшийся в его чистолюбивом сердце.

– Зайчик, я просто убрался, – сказал он мирным голосом, внимательно следя за моими руками.

– Это не уборка, это зачистка! – бушевала я. – Почему надо уничтожать всё, что крупнее микроба?! Я предупреждала тысячу раз: у себя в комнате делай, что хочешь...

– Нет, милая, извини. Это **я** говорил – в **твоей** комнате делай, что хочешь. И ты, пом-нится, согласилась...

– Нич-чего подобного!

– Зайчик, ты же знаешь – я никогда тебе не вру. И всё помню: ты согласилась.

– Не могла я согласиться! С тобой соглашаться, потом себе дорожке выходит... Мне уже остопирамидело – выходишь из собственной комнаты в собственную столовую, а попадаешь в операционную, идешь в кухню – оказываешься в морге... Мне что, пора начинать подумывать об отдельном доме?! Потому что терпение уже вышло всё...

– Ну, вышло, подумаешь – погуляет, и вернется.

– Габи!!!

– Зайчик, ну что ты...

– Что я?.. Что я?! – хорошо, предположим, я согласилась, что у себя... что у меня... Я сказала, что только посмей пальцем здесь! А ты, ты... Ладно, к пендуле рябиновой амарант – его рассадой надо, уже поздно... А *чуринги* где?! Мои *чуринги*... Тебе же хотела иероглифы показать... прокрадываешься, когда меня нет, и всё-таки выбрасываешь всё, что позарез!..

– Вокруг посмотри, – кротко предложил Габи, продолжая держаться на границе броска подушкой.

С трудом сдерживая рвущиеся наружу эмоции, – ну точно как фумарола на плато Летахти! – я огляделась.

Моя комната на втором этаже – она же кабинет, мастерская и личная библиотека с маленьким застекленным зимним садом под громадным выносом крыши, – мне ужасно нравится. Переплетение балок, уходящее конусом в темный взлет потолка, беленые стены с могут-ным скелетом шпангоута; натурального камня камин со здоровенной дубовой полкой; медве-жья шкура у дивана, меховое, наборное из летней норки и зимнего опоссума одеяло на кровати, и прикроватный столик из неохватного пня – его Габи же и делал, собственными руками, как и громадный рабочий стол на 4-х годзилых ногах из скрученной ветрами горной сосны.

Книги на стеллажах, занимавших всю дальнюю стенку, стояли в идеальном порядке – с книгами у меня всегда полный порядок. На диване ничего лишнего... Да на что тут «посмотри», в самом деле?! Может, стол... Но на столе лежало всё нужное каждодневно, чтобы непременно под рукой: охотничий нож (специально выложила, чтобы не забыть отдать Габи на заточку), браслет из сверхпрочного шнура, который входит в список необходимых для экскурсий предметов; 3 разные конфеты, которые кто-то сунул на работе, а я конфет не ем, и все жду Джой, чтобы ей скормить; фотокамера, 4 флэшки – не забыть стряхнуть фотки на комп; коробка с лекарствами; россыпь морских ракушек и бутылка – я декорировала её стиле *морена*, и сейчас она терпеливо переживала на столе мой творческий кризис; сошка от ручного пулемета, прихваченная с Полигона (тоже можно пристроить куда-нибудь!), керамический горшок со спицами и крючками, пивная кружка с шариковыми и гелиевыми ручками, ножницами и карандашами, и стопка записных книжек, и тетрадь для записей, и корзинка с вязанием...

Вот и всё!

И Габи совершенно нечего мне тут ставить на вид... Всё-таки в Лоххиде живем, то есть на ветру, здесь вообще сложно забарахлиться.

Хотя бы из-за сейсмике сумасшедшей – это сейчас я привыкла, или, точнее, привыкла думать, что привыкла... Да нет, какое там – как привыкнуть к тому, что вдруг с места срывается весь мир, и начинает лететь мимо тебя, потому что ему на тебя наплевать, он в данный момент решает собственные проблемы; а вместе с пейзажем мимо тебя – из тебя – летит и твое собственное сердце, и желудок, и нервы... И нет больше никаких констант, ни силы тяжести, ни гравитации, ни даже времени, как такового... У суонийцев *миелоимство* считается разновидностью тяжелого и грустного умопомешательства: что можно накопить, если по несколько раз в год приходится выскакивать из рушащегося дома, прихватив лишь узелок с самым ценным?... Дома тут строят традиционно просторные, но – в одну комнату, потому что недосуг в момент катаклизма путаться в дверях, стараясь понять, успели ли выбежать в безопасный задний двор холостой деверь, вдовая невестка, бабушка и жена, и со всеми ли детьми; и с какой стороны бездонной трещины, раззявившейся посередине огорода, остались собаки с нартами, и куры с яком.

В Суони все слишком непрочное, слишком рискованно... Наверное, поэтому суонийцы и не признавали сакрального, символического значения вещей, просто не успевали подумать об этом, и не рисковали к вещам всерьез привязываться. Это в равнинных странах какой-нибудь буфет передавали по наследству веками, и очередное юное поколение благоговейно взирало на бабушкину фарфоровую куклу, или механические часы с музыкой... А у нас на стариков-то смотрели с громадным уважением, как на любимцев Дороги. Так что Габина нетерпимость оказались вполне в русле местной традиции.

В отличие от моих собственных вкусов.

...Ещё на столе должны были лежать стамеска и *чуринги*, которые я притащила из леса вместе со сморчками. Я чуть сдвинула бумаги, и обнаружила шерхебель – но *чуринг* не было. Конечно, я вовсе не возила их из лесу возами, но штуки 3 всё же приперла, имея в виду сделать очередную *нетленку*: икебану, декоративное панно в холле, ручку на дверь в библиотеку... К тому времени я как раз дошла до очередного уточнения *нетленки*: это всё-таки творчество, стремление преобразить окружающий мир. Идеи рождались постоянно, и материалу прибывало, только вот времени на все никак не хватало, и в какой-то момент Габи не выдержал. Он воспитывался в Империи, а эта страна, как известно, и в искусстве, и в интерьере предпочитает стиль изощренного минимализма. Твердо следуя своим вкусам, муж иногда доходил до полной стерилизации помещения: представлявшееся ему неуместным он припрятывал, а потом выбрасывал. Или сразу выбрасывал.

Я даже не очень сержусь на него – в самом деле, редкий муж потерпит, чтобы взрослая и почти вмняемая баба наволокла в дом дикого валежника, да ещё и страшно удивляется, что он оказался в камине. Гораздо больше меня раздражала как раз Джой, которая, пытаясь определиться в выборе собственного стиля дизайна интерьера, металась между мною и Габи. С одной стороны, его минимализм практически освобождал от всех неудобств уборки, в точности по анекдоту о лысых и волосатых: волосатому причесываться, размышлять о причёсках, да и во что выльется по деньгам парикмахерская, если не хиппи... А лысый купол тряпочкой обмахнул, и всё. Но всё же Габино неприятие любых проявлений индивидуальности Джой тоже не устраивала. Ей жутко нравились отдельные моменты моего убранства – ведро сухоцветов, пустая рамка с висящими внутри колокольчиками на стенке, лоскутное покрывало на кресле, и она всё сердилась на меня за незаконченность композиции... Они с Габи оба никак не хотели понять, что любые дизайны для меня лично являются простой рабочей поверхностью. Ну, какой может быть дизайн в мастерской? – только два: творческий беспорядок и творческий застой.

Соглашусь, как честный человек: жить со мной в одном доме непросто.

Вот и Габи *чуринги* отказался принимать всерьёз...

Конечно, в каждой семье сходят с ума по-своему. Ни мужчина, ни женщина, вступая в брак (особенно по большой любви), понятия не имеют, какие ждут их *лебединые озёра*, *сны в летнюю ночь*, и *метели с маскарадами*. Какие полосы препятствий, фристайлерские трассы и диггерские маршруты; какие нейтральные полосы, кадастровые мёжи и живые изгороди гвоздями наружу.

Чей резвый гений мог предположить, что именно *чуринги* поставят семью на грань развода?

Пока гремели наши с Габи молодые годы, в доме бурно властвовали дети (его, мои и наши), и было как-то не до интерьеров: погнутую раму садовой качалки Габи усилил стальным профилем, просевшие стулья посадил не только на клей, но ещё и на дюймовые шурупы. Раздобыл где-то пуленепробиваемый плафон на фонарь у двери – вечную жертву дворового футбола. Диван, который пробовали на прочность все дети без исключения по мере своего появления на свет, мы заменили дубовой деревянной кушеткой с подушками – ну, и хватит. Но вот дети выросли.

Бобка, мой старший, чуточку пометавшись после армии, махнул в спасатели. Катерина вышла замуж за границу, и теперь работала по специальности – военным юристом, – очень далеко от дома. Франческа обнаружила в себе певческий талант и укатила к отцу-Фрэнку в Акзакс делать карьеру. Стэфан выбрал военно-морскую специальность, Летис в Юне изучала актерское мастерство; Тошка, Фродо, Наин и Тришка отправились в тарки, Персик и близнята – Хома с Томой, – работали у меня в ЦКС, в оперативном отделе. Габин Гиз, лет с трех решивший, что станет только Президентом и никем иным, скорострельно покончив со школой и колледжем, на данный момент служил срочную в армии. И вот теперь, когда переворачивать дом вверх тормашками с утра до вечера сделалось некому, Габи вздохнул с облегчением и навел порядок – как **он** его понимал. Именно так я лишилась запасных меховых одеял и чугунной кованой станины от швейной машинки, из которой собиралась сделать садовый кофейный столик. А также мешка старого тряпья, необходимого для дальнейшего превращения в вязаные коврики. И коробки собачьей шерсти, не говоря уже о целом сундуке кожаных и меховых обрезков, разрозненных ожерелек, браслетов, бус, пряжек, ремешков и прочего приклада, необходимого для творчества.

Я с детства любила и умела расшивать иглоросписью чехлы на подушки, вязать декоративные панно, делать кукол на бутылках, шить наборные кожаные коврики и покрывала из лоскута... Как правило, все это немедленно раздаривалось, редко что застревало в доме. И вот

теперь – наконец-то! – наступило долгожданное время, когда я могла спокойно и не торопясь заняться любимым делом...

Оказалось – не судьба: материал исчез.

Габи, строго допрошенный, даже отпираться не стал: объяснил, что ему надоели короба и мешки «со старушечьим приданым», как он изволил выразиться; увидев выражение моего лица, посоветовал не впадать в панику, потому что ровно через неделю, к бабке не ходи, дом опять окажется по колено в баракле.

Нет, у меня золотой муж. Он очень любит меня, и никогда не допустит, чтобы я перестала им восхищаться. Он умен и образован; у него прекрасное чувство юмора, легендарная биография и огромный авторитет в городе. Джой его обожает, дети (и не только) слушаются его беспрекословно. Патриарх хутора, многоуважаемый Микада, который в пору Габиного появления в Суони ещё был Президентом, а теперь свалил ответственность на бывшего тауттайского губернатора Траута и ушел в министры иностранных дел, всё никак не может смириться с тем, что Габи работает в нашем Центре, а не у него, Микады.

Но жабрица зеленая с ним, с политическим закулисьем! – назрел момент, когда наша отважная, закаленная многими штормами супружеская лодка запросто могла разбиться о быт. Если муж любит готовить, а уборку не рискует никому доверить, жене всё равно не пристало валяться в шезлонге с... холера, понятия не имею, с чем там принято в европах валяться в шезлонге. Терпеть не могу валяться где бы то ни было, и с чем угодно. *Нетленка* воспитала из меня многостаночницу: когда ем – читаю, когда читаю – вяжу спицами, а когда смотрю что-то по ТВ или видеюльнику – вяжу крючком; с пустыми руками я чувствую себя неуютно и дискомфортно, за что Джой обзывает меня невротичкой. Да и пусть её, но освободившееся от домашних обязанностей время никак невозможно было использовать для рукоделья, по вышеуказанным причинам. Скрепя сердце, я уступила мужу кухню, хотя сама готовлю вполне прилично, но на поражение меня в творческих правах отреагировала, как Суони на набег иноплеменников: встала насмерть.

Назревал скандал, устраивать которые я совершенно не умела, да Габи и не дал бы, всё же он профессиональный *агент 007*, и психологию изучал.

Мужа я обожаю, и это взаимно. История нашей любви трагикомична, и кому-то может показаться идиотством, но мы ею дорожим. Многое пришлось преодолеть и в себе, и в обстоятельствах, чтобы наш брак из голубой мечты превратился в реальность: обоим пришлось пересмотреть привычные, казавшиеся вечными взгляды, много потерять, но ещё больше приобрести. Мы поженились в достаточно зрелом возрасте, когда каждый по отдельности уже самодостаточен и вменяем, и твердо верили, дурачье, что никакой быт не сможет отравить нашу – с таким трудом созданную! – совместную жизнь.

Однако вплести в общий быт амарант с *чурингами* пока не удавалось. Видимо, мне стоило быть поумнее: все же Габи родился лавантийским графом, и это очень многое объясняло. И ко многому обязывало.

К сожалению, не только его.

...Республика Лаванти историю имеет бурную. Лежит она на северо-восточном побережье Сарацинского моря с выходами в океан Мрака, и славится самыми изысканными в мире винами, оливковым маслом, шестизвездочными курортами и индифферентной к любым внешним воздействиям внешней политикой. Особенно непробиваемой она делалась при силовых поползновениях.

Впрочем, экспорт оливок, цитрусовых, мохера тонкорунных лавантийских коз, а также туризм и международная банковская деятельность на самом деле являются всего лишь малой

толикой валового национального профита. Эта страна, которой пришлось выживать в жесток и несправедливом мире, быстро нашла для себя экологическую нишу. Она создала самую лучшую в мире внешнюю разведку – легендарную Префензиву – и теперь считалась самым надежным посредником во всех сделках пограничной законности: промышленный шпионаж, политический шантаж, отмывание грязных денег, лоббирование чьих-то интересов, торговля сферами влияния в колониях... Лаванти знала всё обо всех, и охотно делились знаниями с тем, кто мог и хотел за это платить.

С самых первых упоминаний в летописях Лавантийское побережье Зодаатского континента считалось гиблым: то была просто окраина Большой Пустыни, сzybучими песками кое-где, а кое-где – с солончаками и каменистыми пустошами, на которых расти могла разве что совсем уж отпетая верблюжья колючка. Какие-то глухие поселения там имелись, ведь это были восточные задворки европ – Артемисы, Сарагоза, Сегеша и Стефалии, своего рода черный ход на континент, настeжь открытый в Лавантское море. Неудивительно, что туда периодически наведывались то хаматские торговцы рабами, то сейламские пираты, то ещё какие-то разбойники с большой морской дороги... А потом туда начались наезды «Христовой» Армады, ещё во времена её принадлежности Мидо-Эйго. Эти чинили суда, набирали воды и провианта для дальнейших походов; лениво разоряли хозяйства, лениво требовали то какой-то дани, то каких-то рабов... В конце концов люди ушли оттуда совсем.

И в некий исторический момент государства, имевшие открытые к побережью границы, сговорились раз и навсегда покончить с восточной угрозой. Прибрежная пустыня именовалась Большой и действительно имела большую протяженность вдоль береговой линии, но вглубь была вполне проходима, если поднапрячься. Времена стояли средневековые, жадные, поднапрячься мог кто угодно, и в любой самый неподходящий момент. Чтобы больше не вздрагивать спросонья от громкого стука в городские ворота, и не усугублять бессонницу размышлениями о войне у стен собственных столиц, сопредельные государства решили скооперироваться. Они проспорили всего-то лет 5, помянув друг другу все старые счета и предъявив все накопившиеся – от царя Сапрапула, – претензии; отведя душу криком, всё-таки договорились предпринять небывалую акцию: свезти в Гиблые земли преступников, осужденных на смерть. Бунтовщики и головорезы, фальшивомонетчики, грабители и чернокнижники, – вот уж их точно никто не собирался спрашивать, согласны или не согласны они жить в горьких от соли песках и искать пропитание на исковерканных океаном мертвых прибрежных скалах. Их просто погрузили в трюмы, вывезли и выгрузили – как скот, не имеющий прав на выбор не только жизни, но и смерти. Исходя из человеческих законов, они уже навывирались, наошибались, начудили и намозолили всем глаза, так что теперь вынуждены были нести ответственность за содеянное.

Новой провинции не назначили ни алькальда, ни суда, – ненормальных не нашлось лезть в этот ад. Только приехал по зову сердца неистовый капеллан разгромленной на просторах Эолы армии безвестного герцога.

...Как обычно, началось с воровства средств, отпущенных на мероприятие, и было много откровенного крысятничества, подлостей и гадостей, и как следствие – голода и смертей; плодотворная идея грозила помереть на корню, не успев принести дивидендов. Страны-соучастницы, удостоверившись, что почти все средства украдены, а новых взять неоткуда, начали искать виноватых, обвинили друг друга во всех смертных грехах, задавили горами взаимных обид... Но всё же позволили горам этим породить мышь: на жалкие остатки недоуворенных денег закупили и завезли в Гиблый край два корабля: один привез шанцевый инструмент, несколько десятков мешков семян и сотню тощих, как мотыги, коз, а второй – женщин-заключенных.

Высаженные до этого на голый песок каторжане, отчаянные и озлобленные, ни одной секунды своей пропащей жизни не сомневались, что никто и ничего для них в мире даром делать не станет, и поначалу просто принялись вымирать, стиснув зубы. Но тут последовали запоздалые благодеяния чутко охолонувших родин, и смертники вспомнили, что *спасение утопающих есть дело самих утопающих*. Шанцевый инструмент, презрительно посмеиваясь, всё же разобрали; полудохлые козы, как это ни странно, оказались дойными; женщины, также прошедшие огонь, воду и медные трубы, дали неожиданно резкий отпор раскатавшим губу любителям дармовой любви, засучили рукава с остатками дешёвеньких (и не очень) кружев, и занялись хозяйством.

И тут на мертвой земле отчего-то начались чудеса.

Первое выстроенное собственными, непривычными к мирному труду руками здание, была церковь – Храм Пречистой Девы Марии. Конечно, из плавника, другого дерева тут не росло. Кстати, церковь эта, тщательно отреставрированная и бережно хранимая, стоит по сю пору... На Христа новопоселенцы не решались уповать, но Спорученица Грешных, Всех Погибших Радосте, жалостливая Царица Небесная, показала единственной надеждой сбившихся с пути; под Её Покровом, судя по всему, и начало новую, суровую и тяжкую жизнь будущее государство.

Отнимать друг у друга было нечего, пришлось сажать маис и разводить скот. Наладились рыбачить на плотках из того же плавника; а потом кто-то вдруг глину нашел в солончаковом распадке, и припомнил отца, как тот отжигал в уличной печи горшки да макитры. Помял в пальцах глину, понюхал, лизнул... А хорошая глина-то, отличная просто!

Дожили до натурального обмена; жилось нелегко. То неурожай, то мор, то усобица какая – первое время то и дело пытались решать проблемы по старинке, то есть кулаками; но как-то ясно было, что ничего это здесь не решает. От отчаяния, от безысходности всё чаще обращались к капеллану – может, что посоветует... И как-то всё-таки жили. Минуло время, старый капеллан умер, успев обучить десятку молитв, Правилу Евхаристии и благоговению к еле живой книжке Евангелий четырех болезненных юношей, которые сроду ни в чем виновны не были, так как родились уже на каторге.

...А народ упрямо нёс и нёс в храм из плавника крестить детей, и отпевать усопших, и желал, непременно и обязательно – сказать кому, не поверят! – заключить законный брак перед Царскими Вратами, перед Владычицей, чин по чину.

И жизнь вроде налаживалась потихоньку.

А потом произошло ещё одно чудо – правда начавшееся, как это часто случается с чудесами, с кошмарного ужаса.

«Христова» Армада, посмеиваясь, дала новым овцам обрасти шерстью, а когда проголодалась – приплыла стричь.

И потерпела сокрушительное, чуть не первое в её истории, поражение.

Полуголодные, полураздетые поселенцы, в мирное время готовые пасть порвать за горсть земляных орехов и глоток свежей воды, общавшиеся друг с другом на языке самодельных ножей и международного мата, смиравшие грубость поведения только разве в церкви, перед Владычицей, – неожиданно, как ума и памяти лишившись, плечом к плечу встали насмерть против чужаков. Подруги и жены – мошенницы, воровки, проститутки, держательницы притонов, варительницы тёмных зелий, – вместе с мужчинами отбивались, чем попало, от кирасир «Христовой» армады, лили кипяток со стен убогих крепостишек; шли в служанки, в наложницы, и резали ненавистных врагов в их шатрах, спящими, пьяными, разомлевшими... А потом один из болезненных юношей-священников разыграл предательство, и заманил морских рыцарей в сухопутную ловушку, сообщив, что в местных невысоких горах роют алмазы, и много уже нарыли... Зыбучие пески поглотили передовой отряд отборных кирасир, священ-

ник погиб под мечами, став национальным героем, а Армада, не рассчитывавшая на такие потери, отступила; залитое кровью побережье было чисто от неприятеля.

...И потом они снова зажили, как могли и как умели, но уже сплоченные пережитым вместе; а неистовые барды и менестрели пошли разносить по миру сказания и баллады о свободной стране, где нет десятины и подати, где живут отчаянные и справедливые люди, и – конечно же! – самые прекрасные женщины... Благодаря этому средневековому прототипу рекламной компании в Лаванти потянулись караваны гениальных неудачников – всякого рода *монте-кристы*, *робин-гуды*, и, кстати, просвещенная интеллигенция, преследуемая Святой Инквизицией.

Ереси здесь не приживались – и без них жить было тягостно, да и не могли забыть лавантийцы заступничества Девы, Её Покрова перед лицом непобедимого неприятеля... Князей не признавали, очень быстро дошли до демократии – выбирали всем миром сначала Старейшину, потом, с приростом населения, – Совет, а уже к нашим временам ближе, и Президента. Короче, к Ренессансу в Лаванти образовалась очень даже сплоченная нация, ничего общего не имеющая с национальностью. Бывшее отребье, сроду не умевшее считать ничего, кроме медяков, родства не помнящее, волчья сыть – потихоньку копили национальное самосознание и интеллектуальный потенциал. Вдруг железо нашлось в местных апеннинах, и мачтовые боры на севере, которые, может, и считал кто-то в европах своими, да вот как-то постеснялся скандалить с полудикими бесами с побережья. Возник флот – не кучка рыбацких шаланд, а настоящий, с флагами и пушками, выстроенный безумцем-инженером, приговоренным в Кастле к четвертованию за эпиграмму на гетмана Сапёгу. И коноплю для пеньки умудрились вырастить, а горстку *деловых*, попытавшихся эту коноплю присвоить, чтобы использовать не по назначению, дружно побросали в зыбучие пески.

И почему-то именно тогда спохватились сопредельные государства, учредители и повивальники (видать, дела у них к тому времени пошли не ахти), и порешили напомнить тем, кого считали до сих пор полууголовной вольницей, диким полем, – об их вассальных обязанностях. Типа, мы вам дали... а вы нам не дали... а вот теперь...

Но Лаванти, отразив в свое время набег Армады, больше ничем себя обязанной европам не считала. И когда ей попытались указать на ошибку в более жестких выражениях – объявила у себя мобилизацию, и направила мощный флот к морским границам сопредельных держав. Она решила, что самое время поднять вопрос о границах. Европы, обалдев от такой наглости, имели неосторожность возмутиться и принять бой... Но проиграли битву вчистую – ещё бы! – ведь кораблями лавантийского флота командовали ханаанские пираты, сарагосские каперы и сейлемские рейдеры, которых сами европы, помирая от жадности, и наплодили в свое время, а наплодив, не смогли прокормить, и вот теперь *порождения века сего* оказались обречены на самостоятельность. Что ж удивляться, что именно Лаванти стала для них родным домом!

...Европейские флоты, давно уже отвыкшие от серьезных битв, потерпели сокрушительное поражение в исторической битве у Голого мыса. Посердились, посетовали, прикинули последствия, на всякий случай испугались, стали считать, как откупаться от возмужавших и обнаглевших *големов*... Но победители, к всеобщему удивлению, никаких ужасных условий мира не ставили – потребовали только оставить в покое. Попрепирались, подписали какие-то «окончательные» мутные грамоты... В королевских домах просвещенных государств ещё рассказывали страшное о сумасшедших прибрежных дьяволах, а те вдруг – раз! – и прислали посольство, в кампанелльских кружевах, с богатыми дарами – имперскими шелками, террагонскими пряностями, соланским перламутром. И как-то вдруг стало понятно, что Лаванти знает толк не только в скорострельных пушках и стрельбе из мортир навесом, но и в честной торговле.

Устав бояться, европы созвали 2-й общеевропейский (княжеский) Совет, на коем решено было новоявленную страну признать, торговлю разрешить, и предоставить ей великую честь защищать с востока Зодееатский континент от любого врага, какой только найдется.

...Страницы истории Лавантийского государства, как и многих других государств, мало похожи одна на другую. Они писаны то гордо и внятно, то стеснительной скороговоркой, а то и вовсе тяжелые страницы набухли кровью – ведь писать их пришлось людям упрямым и закосневшим в недоверчивости. Они выживали, как умели, и не позволяли себя обмануть и обойти, оберегая с таким трудом созданный, первый для многих собственный дом, может быть, убогий и неказистый на взгляд других, гораздо раньше стартовавших участников этого средневекового марафона... Жестокие и сентиментальные, лавантийцы любили свою землю и гордились ею, потому что создали её своими руками. На знойных пустошах прорыли каналы, отыскивали родники в песчаных котловинах; засадили всю страну рощами – апельсиновыми и оливковыми, насадили виноградники на склонах крутых холмов; выстроили многочисленные, но небольшие городки, деревни и замки с угодьями; им нравились фонтаны во внутренних двориках, и высокие потолки в прохладных каменных спальнях. И они точно знали, что никому и ничем не обязаны, и никому и ничего больше не должны.

И когда, в недалеком конце позапрошлого века, уже новая сила – Организация – объявившаяся в европах, захотела наложить лапу на строптивного карлика, произошел неприличный для «силы» конфуз. Невозмутимые лавантийские дипломаты, сплошь самовписанные в летописи графы и гранды, разве что не с попугаями на гербах, нагло улыбаясь, называли такие имена, и намекали на такие *тайны мадридского двора*, что оппонентам оставалось только зеленеть в бессилии. На любой акт нетолерантности по отношению к ним эти бастарды обещали ответить соответственным количеством битов сверхсекретной информации, каковые биты немедленно свили бы всю европейскую политику в такой гордиев узел, что... Конечно, информация оказалась тщательно проверена и надежно защищена. Организация, призадумавшись, второй раз признала Лаванти пока себе не по зубам. Кому как не ей было понимать, что все секреты являются прежде всего товаром, а обладатели их – купцами, с четким понятием о профессиональной этике. А далее – по законам рынка, *вуаля*.

...За 14 веков своего существования Лаванти ни разу не допустила врага внутрь собственных границ. Зато охотно откликнулась на потребность унылых городских жителей в море и солнце, и понастроила на побережье, когда-то называвшемся Гиблым, пятизвездочных отелей. Не очень понятно с чего, но колыбелью своей субнациональной идентичности они порешили считать канувшую Атлантиду, – видимо, во времена оны о затонувшем материке рассказывал на приморской рыбной ярмарке залетный пустослов. Заслушавшись, обалдев от бездонной романтики этой истории, они более никого не слышали, – особенно тех, кто пытался объяснить, что Атлантида потонула задолго до появления не только Лаванти, но и большинства европейских государств, – и сочинили собственный провенанс своей судьбы и державы: постановили себя потомками атлантов, чудом спасшихся при потопе. Кроме себя, они готовы были признать выпавшими птенцами того же гнезда мидо-эйгцев и сканийцев, то есть современных суонийцев.

Всех прочих числили произошедшими от обезьян, и ни в грош не ставили.

Вот это всё и был мой муж Габриэль Винченцо Твэр, лавантиец, полковник Префензивы, попавший в сферу профессиональных интересов нашего Центра Кризисных Ситуаций, вычисленный, но не пойманный, потому что приехал сам. Тут же мы с ним и влюбились друг в друга, а потом и поженились.

Спорить с ним по любым вопросам было бестолковое занятие, неважно, по какому поводу – сухие букеты, соленые огурцы или *чуринги*, – потому что он был умен как тарк, и упрям как як.

...Потратив тот вечер на взаимные упреки и претензии, измотав друг друга до полного офонарения и так ни до чего не и договорившись, разошлись спать. Причем я ушла, «разлив сливки».

(Это такое идиоматическое суонийское выражение: сливки ставят на притолоку двери, в холодильник. И значит, уходящий человек так шарахнул дверью, что крынка свалилась.)

Глава 4

*Вы мне хотели жизнь испортить? – спасибо, справилась сама.
Народная мудрость.*

Один мой хороший знакомый считает, что любая книга должна начинаться, как налет конницы на вражескую пехоту: внезапно и яростно, круша и подавляя вялое сопротивление, а подсчет пленных и разбор полетов следует оставлять на потом – *чего тут думать, прыгать надо!*

Не могу с ним не согласиться, но с конницей никак не получается – лошади не мой формат.

Наверное, на самом деле эта повесть – те самые *летающие по ветру листья*, ворох воспоминаний, которые, как взметенные сквозняком бумаги, порхают беспорядочно, стараясь опередить друг дружку, к окну – чтобы взмыть из него в ничем более не ограниченную последнюю высоту. И общего у них – только то окно, подарившее свободу, да ещё мой путанный почерк, сделавший их говорящими. Может, так и останутся кружить у окна, пока не собьет непогода на землю; а может, рванут в высоту, унося куда-то, кому-то, – неизвестному, но равнодушному, – рваные мысли о непостижимой, недостижимой синей птице – *нетленке*.

...Или попробовать? – пусть не книгу, пусть главу. Ну, например, как-то так:

Микада, что-то рассказывая в лицах, жестикулировал бутылкой с коньяком; Гжесь-Слепое Счастье, прикрыв от удовольствия незрячие глаза, азартно лопал рыбный салат с кедровыми орехами; Пёсик выедал яблоки из жареного гуся, а Траут – клюкву из кислой капусты. Когда же я заметила, как Тревет тишком таскает из ведра сырое мясо, замаринованное на завалящие шашлыки, тоглянула на Габи повнимательнее, и убедилась: муж в данный момент находится в том именно состоянии, что и я после «налета орла» на амарант.

Был обычный вечер буднего дня; как обычно, к нам на огонек слетелись друзья. А когда вечер, устав подмигивать последними солнечными лучами из-за Гадючьей сопки, закатился отсыпаться за море, и всех гостей наконец проводили, я поинтересовалась:

– В чем дело, милый? Откуда эта горькая складка между бровей? Тебе *вдруг, вдруг, вдруг* разонравилось готовить? Не понимаю, с чего...

Габи только рукой махнул. Мы кое-как успели помириться, но обретенный мир выглядел чуточку кособоко: с Габиной стороны – выжидательный, с моей – настороженный. Каждодневные дела требовали совместных слаженных действий, каждый из нас, со своей стороны, честно пытался наладить отношения, но без особых успехов: *чуринги* по-прежнему оставались для Габи – мусором, а для меня – рабочим материалом.

А вот теперь растолкуйте мне, как можно считать великим писателя, беззастенчиво утверждавшего, что все несчастливые семьи несчастны по-разному, а все счастливые, по мнению «гения», счастливы непременно под копирку.

На самом деле неудачные семьи имеют всего три причины для трагедии: деньги, пьянки и гулянки. Скажите, какие разносолы!

Зато «монотонность» существования счастливых семей есть наивное (если не сказать резче) заимствование из той виртуальной сказочной реальности, где со свадьбой кончается весь сказ, и где сам автор типа был, типа мёд-пиво пил, по усам текло, в рот не попало... тут и сказочке конец, а кто слушал – тот... колонок.

Ага. Конечно!

Именно счастливый и долговременный брак дает человеку возможность познать все кроссворды, шарады и sudoku реальной, не втиснутой наспех в литературщину человеческой жизни.

Возьмем – ну вот хоть Джой со Стэнисом.

25 лет они нежно любят друг друга в ничем непоколебимом браке. Она зовет его «Несси», и он охотно откликается, хотя это всего лишь уменьшительно-ласкательное от *Лох-Несского чудовища*.

Да, у Джой несколько вздорный характер, зато у Стэниса – очень даже уравновешенный, где-то даже покладистый.

Но: Стэнис сильно старше жены, и кроме того – миллионер, и не потомственный, «из семьи», а сам себя сделавший. То есть не с традициями, а с капризами. Изначально по специальности он химик, и в отличие от нас с Джой точно знает, почему в таблице Менделеева йод есть, а зеленки нет.

Но: Джой, как и я, работает в нашем Центре Кризисных Ситуаций, пашет, как папа Карло на букварь; их со Стэнисом дети, – в жутком количестве штук, не меньше, чем у меня, – пока далеко не все разлетелись из гнезда. Да ещё совершают на их дом периодические набеги Стэнисовы взрослые сыновья, порожденные им в период затянувшейся безответственности, то есть до вступления в законный брак. Как, например, Габи. Или Траут.

Из собственно капризов за Стэнисом числятся следующие: он любит подолгу сидеть в одиночестве у себя в кабинете, перед абсолютно пустым письменным столом – уверяет, что так работает. Дома, вот уже 20 лет, миллионер носит поседлые джинсы, вязанные чуваки и кацавею из дохлого бобра, линяющую почище самого запущенного кролика, что заставило однажды юмориста-Микаду сочинить классическое таркское хокку:

...«Пришла, рассыпалась клоками»...

Джой в отчаянии —

Упёрлась не отстать от листопада

В сезонной линьке

Старая мужнина жилетка.

Клочковатые тени палой листвы заматают веранду...

Не ходите, девки, замуж!

Стэнис пожизненно верен гречневой каше и плюшевой скатерти с плюшевыми бубенчиками. Из развлечений – не протокольных, а дома, для души, – он признает лишь пиво, домашний бильярд под пиво, и домашний бильярд под пиво с Микадой.

Ещё надо сказать, что нравы на нашем Собачьем Хуторе, где живут в основном обеспеченные люди (как я уже говорила – вся головка суонийской администрации), абсолютно демократические. Иначе в Суони невозможно: из 70 видов опасных природных явлений, происходящих в мире, 25 происходят только у нас. А человек, умеющий грамотно пурговать, развести в любую погоду костер из сырых дров, сделать в наводнение плавсредство из подручного материала, оказать первую помощь при ранениях, переломах и родах, ориентироваться на пересеченной горнолесной местности и править собачьей упряжкой, вряд ли затруднится с заматыванием полов, мытьём посуды или стиркой. Семьи у нас традиционно многодетные, и ребенок, едва встав на ноги, получает массу прав и кучу обязанностей, так что праздных рук в семьях как-то не получается, а хозяйственные заботы никого слишком не тяготят.

Поездка в выходные на рынок – веселуха; летом на внедорожниках, зимой на «буранах», это и фольклорная экспедиция, и точка randevu с затерявшимися в суете будней друзьями, и возможность приобщиться к бесхитростному празднику жизни – новым шуткам, злободнев-

ным слухам, а также краскам, запахам и вкусу копченых рядов, соленых рядов, масляных-ореховых рядов, лесных-травных... Вот с готовкой было сложнее: мы с Джой, ещё по Акзакской привычке, держали открытые дома, и по вечерам то у неё, то у меня собиралось по полгорода. Также и другое: в равноправной Суони, где и мужчины и женщины в равной мере стремились к полной самореализации, совершенно невозможно было найти «помощника по хозяйству». Никакого пола.

Впрочем, у меня теперь готовил муж...

И вот однажды на работе Джой, поймав меня на коридоре, спросила:

– Ты сегодня вечером дома будешь?

– Куда ж я денусь?!

– Очень хорошо. Я к тебе приду.

Жили мы окна в окна, и друг к другу шастали по пять раз на дню, так что я насторожилась:

– А чего так торжественно?

– Мужики нынче в коптильне угрей коптить будут, так что покормятся сами. И попьются... А мне надо с тобой поговорить.

Я кивнула, заинтригованная донельзя.

– ...Он подарил мне шляпку, – говорила несколькими часами позже Джой, сидя у меня на кухне и пытаясь подлить себе кофе из пустого кофейника, – из настоящего фетра – представляешь? – здесь. В Суони. Шляпку...

Окна кухни смотрели на палисадник, подъездную дорожку и Джоев гараж, за которым простирались луга до самой Листвянки; на противоположном берегу виднелись зады домов на Лапке; из распахнутой форточкы слышались синкопы хулиганского регтайма дождика-ско-ропада: по подоконнику – плюх-плюх... По каменной ступени крыльца – блям-блям. И по забытой на крыльце чашке – плюбля!

– ...цена, скорее всего, как у породистого верблюда.

Мне как-то не случилось проглядывать прайс-листы именно на верблюдов. Я задумчиво глянула на крыльцо, прикидывая, что мне будет от Габи за чашку, и спросила рассеянно:

– Тебе эта шляпа мала, что ли?

Джой дико глянула на меня, а потом вдруг дико расхохоталась:

– А знаешь, да. Она совершенно не налезает на мою жизнь...

Тут уж чашка с мужем вылетели из моей головы напрочь.

– Так, – сказала я, – минуточку. Отцепись от кофейника, он пуст, как моя голова. Я сейчас буду варить ещё кофе, а ты – раскрывать тему.

– У меня накипело, – отозвалась подруга, – так что раскрою в лучшем виде.

И раскрыла.

– Понимаешь, шляпка – дамская, – сказала она проникновенно, – то есть носить её должна дама. Так?..

– Ну... – сказала я, продолжая варить кофе и ничего не понимать. – Шляпка дамская, ты – дама...

– А ты уверена?.. – ехидно прищурившись, поинтересовалась Джой.

Я, честно скажу, впала в лёгкий когнитивный диссонанс (негодяй-кофе попытался воспользоваться этим обстоятельством и сбежать, но был пойман с поличным), и неуверенно протянула:

– Э-э-э... Не поняла – детей-то нарожала, мужикам такое слабо, даже ведьмакам... Выходит, дама.

– Ага... Шас! – победно отозвалась Джой. – Шас я дама. Я – тетка!.. Ты не подумай, я-то тоже поначалу разлетелась, *как фанера над Парижем*: ах, ах, буду шляпку носить, выкину с мостика в речку кроссовки и джинсы, высокие каблуки заведу, и не одни... Но моя судьба, похоже, спелась с Габи, и изучила все до единого восточные единоборства. Она мастерски провела *дегаже* с последующим *джэбом*...

Я вытаращилась.

– ... и послала меня в нокаут – к зеркалу, которое отразило убийственную правду. И вот я здесь... Думаешь, знаешь меня, как лупленную? – хотя, может быть... Просто потому, что знаешь себя, а мы с тобой бабы одного типа: это которые бабы, несмотря ни на что. Нас не заломали ни детство в монастырском приюте, ни нищая юность, когда мы лопали пустой чай вприкуску со светлыми идеалами, ни первые любви, которые сейчас вспоминать так же весело, как юношеские угри...

Джой издала звук, который у менее стойкого человека я бы точно сочла всхлипом, и, шмыгнув носом, продолжила:

– ...А героический побег из Акзакса?.. А не менее героическое, и кретинское в придачу, десантирование в Суони?.. А моя свадьба с *тем*... а война, послевоенная разруха, Тауттай и его разруха... Леший знает, может, всё это меня и зашибло ненароком, только теперь всё равно не угадать, что именно стало той каплей, которая сломала спину верблюду. Но кое-что я всё-таки поняла. После вступления Суони в мировое сообщество в западной прессе появились игривые упоминания о красоте суонийских женщин, которые начали котироваться на мировом рынке гораздо раньше нашей нефти, наших опалов, нашей осетрины и нашей платины – так вот, это не о нас с тобой. Потому что как раз осетру нормально иметь такой нос, как у меня. А опаловой дружке – такую талию, как у тебя...

– Минуточку, – возмутилась я, – вот, например, Траут говорит, что у меня идеальная фигура!

– Заяц, – печально отозвалась Джой, – Траут – математик. А для математика идеальной фигурой является шар... Так что смились с тем, что от моего носа и твоей талии все мировые кутюрье падают в обморок, а придя в себя, наглухо заворачиваются в плащи цветов, модных в будущем сезоне, и категорически отказываются признать факт нашего существования. Потому что это мы с тобой знаем, что для супа из черепахи нужна как минимум кошка. А модным дизайнерам, для создания модных одежд, нужна как минимум дама, – чтоб было понятно, что туалет надет на даму, а не на стремянку. Однако мы всё-таки существуем, в отличие от бурых медведей, которые, если верить юнийской прессе, и посейчас бродят по улицам Лоххида, пугая случайных туристов-экстремалов горловым пением. Не хотелось бы никого разочаровывать, но медведи у нас по столице не ходят, потому что по ней хожу я, уверенно ступая ногой 42-го размера 8-й полноты, раскованная и уверенная в себе, как камнедробилка, у которой полетел стоп-кран. Я иду по улицам ставшего родным города строевым военным шагом, и в руках у меня – обрати внимание! – все те же туго набитые продуктами питания сумки, что были в Акзаксе, только импортные, потому что местным аналогом европейской авоськи являются нарты на собачьей тяге... И в одной руке у меня, стало быть, сумки, а в другой – артрит, предательски поселившийся там ещё со времен нашего великого похода через Суони.

– Какие сумки? – поразились я.

– Ладно-ладно, так и знала, что придерешься. Ну не сумки, ну руль этого чудища, как его... *озорно, огромно*... лендровера, чтоб ему. Ещё неизвестно, то лучше – лендровер или авоська. Конечно, теперь-то я тетка не бедная. И зарплаты у нас с тобой хорошие, и в бизнес кое-какой я вылезла, и муж – богач... Но я терпеть не могу водить машину, а в Суони никто не хочет идти прислугой – поваром, шофером... Однако, самая подлянка заключается в том, что подлянка совсем не в этом. А вот в чем: чтобы гордо носить честно заработанные, к при-

меру, брильянты, или ту же – будь она неладна! – шляпу, нужны вовсе не деньги, и не прислуга, а походка, свободная от бедра, и томно вздернутый подбородок, и глаза, подернутые тоской по дальним странам и несбыточному.

... Вот скажи мне ты, которую я держу за честную женщину, что я могу придумать несбыточного?! Икра у нас чуть не дармовая, соболя с горностаем в лесу – стреляй, не хочу, платина с опалами дешевле музыкального центра, а музыкальный центр у меня уже есть... И где, к репьям ушастым, я им возьму дальние страны, если за Собачьим хутором – перелесок, обрыв, черный пляж и океан, а потом сразу – уже западная часть атласа?.. И с какого перепугу у меня появится летящая походка, когда я сроду – *друг, товарищ и мать чьих-то детей?*.. Если с самого нежного возраста все, включая родителей (впрочем, я их не помню... хотя, если бы они говорили другое – непременно запомнила бы), внушали, что единственный достойный выход для такой мотыги, как я – это выйти на ристалище наравне с прочими благородными рыцарями, спрятав буйную шевелюру под железный шлем, с мечом, копьем и нечеловеческой храбростью?! Если в быстротечные идеалы собственной юности никак не укладывались понятия пола? Наши идеалы ставили перед нами задачи, индифферентные к биологии: тяжкая поступь, железное плечо, бицепсы, способные взять олимпийский вес в самой неудобной таре, и *взор, гордый и богохульный*... Короче, я устала. От конструкции этой своей, железобетонной, и ничем не пробиваемой. Я хочу быть дамой – хрупкой, беззащитной, и дурой. Напрасно улыбаешься, сама знаешь, что я права! Пусть перестанут, наконец, видеть во мне опору общества. И разрешат ничего не понимать в тормозных колодках, насадках на садовый шланг и газовой колонке, и верить даже рекламе, и светло плакать от собственной глупости. И разучиться подсчитывать в уме, сколько будет, к примеру, пять сканов поделить на воскресный обед из троих взрослых и двух детей с собакой, если из условия задачи известно, что двоих нет дома, одному нельзя трубчатых костей, другой ест только яйца, а набегит человек 10?!

– Можно посчитать на калькуляторе, – сказала я, почесав в затылке.

– Нельзя. Калькулятор не учитывает трубчатых и набегавших, я проверяла. В уме проще...

– И что это будет? – спросила я с неподдельным интересом.

– Это будет сложная яичница с колбасой и компотом, сама могла бы сообразить! Да разве я об этом... Я не желаю больше слышать от идиотки-продавщицы в одежном магазине, которая, конечно, уже задолбалась таскать мне в примерочную одну блузку за другой, что у меня обе ноги – левые, и вместо лопаток локти, и посадка низкая, хоть взлет и вертикальный... А, да опоссум с ней, с продавщицей, плевать сто раз – просто иногда так хочется дрожаще вцепиться в эту его кретинскую жилетку, и выплакать в неё какую-нибудь умилительную несусветицу... Но вот ведь подлость – дрожаще вцепиться я могу, только если напьюсь до розовых слонов, а ты же знаешь – я не пью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.